

1. НЕИЗВЕСТНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 2. ЖУРНАЛЬНЫЙ АД. 3. (ОТРЫВОК ИЗ ПОЛЕМИЧЕСКОЙ СТАТЬИ.) 4. ФЕЛЬЕТОН (В. ЗАЙЦЕВА О ЩЕДРИНЕ)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОЛЕМИКЕ ЩЕДРИНА С «РУССКИМ
СЛОВОМ» И «ЭПОХОЙ» 1864 г.

Публикация, вступительная статья и комментарий В. а. Гиппенсуса

САЛТЫКОВ И ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА 1864 ГОДА

Четыре публикуемые здесь документа — три полемические статьи Салтыкова и один фельетон, направленный против Салтыкова, — связаны друг с другом хронологически и тематически.

Написанные в 1864 г. и в начале 1865 г., они примыкают к уже известным материалам по журнальной полемике 1863—1864 гг. Эта полемика и участие в ней Салтыкова уже изучались в работах Б. П. Козьмина¹, Иванова-Разумника² и других. Новые материалы, которые мне удалось найти, вносят в историю этой полемики существенно новые данные и позволяют восстановить ее последовательность более или менее полно.

Два документа — статья Салтыкова в форме открытого письма «Неизвестному корреспонденту» и его же «Журнальный ад» — обнаружены мною при изучении архива А. Н. Пыпина в ИРЛИ АН. Статьи сохранились в корректурных гранках в ряду других, относящихся к «Современнику» 60-х годов статей Салтыкова и других авторов. Статья «Журнальный ад» не подписана, а письмо «Неизвестному корреспонденту» подписано псевдонимом («Хроникер «Современника»»), но совпадение их текстов с текстами Салтыкова как печатными, так и рукописными, настолько очевидно, что вопрос об авторстве может считаться решенным. (Аргументы я привожу ниже.)

Анонимный фельетон с сатирой на Салтыкова — извлечен из апрельской книжки «Русского Слова» 1864 г. Этот фельетон — факт очень важный в истории полемики «Современника» с «Русским Словом» — до сих пор не учитывался в литературе, посвященной этой полемике; между тем обойти его никак нельзя, тем более, что Салтыков, как увидим, на него ссылался. К этим документам, обнаруженным в результате моей личной работы, я присоединяю еще один, о котором в специальной литературе уже упоминалось: отрывок несохранившейся статьи против Ф. М. Достоевского и журнала «Эпоха», начинающейся словами: «Но если уж пошла речь об стихах» (см. Иванов-Разумник. «М. Е. Салтыков», стр. 360). Отрывок этот ближайшим образом связан с «Журнальным адом», и он же включает в себе косвенную ссылку на фельетон «Русского Слова». Очевидно, что все четыре документа — три, вовсе не появлявшихся в печати³, и четвертый, напечатанный в 1864 г. и с тех пор ни разу не перепечатанный, — должны быть объединены.

В 1864 г. не могло быть и речи о едином антифеодалном фронте, который характерен для 50-х годов и для кануна крестьянской реформы. Дальнейшее развитие ка-

питализма и его социально-политические результаты противопоставляли друг другу социальные силы с особенной резкостью; соответственно осложнялась и углублялась идеологическая борьба. Защитники буржуазно-дворянского пути капиталистического развития решительно разошлись с идеологами американского пути; два лагеря стали друг против друга — буржуазно-дворянский либерализм (перерастающий в откровенную реакцию) и демократический радикализм: в каждом были конечно и свои внутренние противоречия. Классово-идеологические силы размещаются по-новому и это очевидным образом сказывается в литературе. Катков — недавний вождь дворянского либерализма — теперь самоопределяется как идеолог национализма и самодержавия, но в то время как раньше он втягивал в сферу своего влияния обличительную литературу, так теперь он втягивает недавнего сотрудника «Современника» Тургенева. Он печатается на страницах «Русского Вестника» рядом с националистически-воинствующей беллетристкой Клошниковой, с крепостнической публицистикой Фета. С другой стороны, Герцен, еще недавно не чуждый либерально-монархических иллюзий, теперь через группу «Земли и воли» приближается к идеологии крестьянской революции. Отношением к крестьянству и к возможности крестьянской революции продолжала определяться расстановка сил внутри радикально-демократического просветительства. «Современник» с его крестьянской ориентацией и с программой социально-политической борьбы (в той или иной форме) противостоял буржуазно-интеллигентской ориентации и культурническим тенденциям «Русского Слова». Вопросы «теории» и «практики», больших и малых дел, революционного действия и мирной пропаганды, или, по писаревскому выражению, «механического» и «химического» пути в истории, не могли не обостриться, начиная с 1863 г., после польской революции, после несбывшихся надежд на подлинное и повсеместное восстание обманутых реформой крестьян.

Позиция Салтыкова в классово-идеологической и группово-идеологической борьбе была и сложной, и трудной. В целом она может быть уяснена только в перспективе его дальнейшего идейного развития; здесь достаточно вспомнить некоторые моменты его предшествующей эволюции. Оставляя в стороне детали, констатируем, что на протяжении 50-х годов Салтыков оставался в пределах буржуазно-дворянского либерализма, осложняемого то славянофильскими элементами, то элементами утопического социализма (см. перебои того и другого в работе над повестью «Тихое пристанище»). Салтыков возобновил литературную работу в 1856 г. (после ссылки) в журнале Каткова, и если он уже в 1860 г. высмеивал Каткова в печати («Характеры»), а в частных письмах, возмущался его нетерпимостью к чужим убеждениям, то еще в 1861 г. считал возможным сотрудничать в катковской «Современной Летописи» статьями, развивавшими все те же «дворянские мелодии» («Где истинные интересы дворянства» и т. п.). В 1862 г. он едва не становится во главе либеральной «Русской Правды», задуманной как своеобразный блок между либералами и демократами, куда наряду с Унковским и другими земскими либералами предполагалось привлечь Чернышевского. Задаваясь целью примирить «различные оттенки партий прогресса», журнал избрал своим девизом одну из тех пословиц, над которыми впоследствии Салтыков сам так зло смеялся: «Не сули журавля в небе, дай синицу в руки». С точки зрения «практического смысла» против «теоретиков» были написаны в то же году «Каплуны», запрещенные цензурой и одновременно вызвавшие принципиальные возражения со стороны Н. Г. Чернышевского.

В эти именно годы (1862—1863) Салтыков переживает несомненный идеологический кризис. Самый факт его вступления в редакцию «Современника» (с начала 1863 г.) и его напряженной работы в этом журнале означал разрыв с дворянским либерализмом недавних лет и смыкание с радикально-демократической группой, и притом с той ее частью, которая в основном продолжала традиции Чернышевского (отличия и расхождения в частности были конечно возможны).

Салтыкова разлучали с «Русским Словом», с одной стороны, вопросы общего мировоззрения (естественно-научный, механистический материализм писаревцев, неприемлемый для Салтыкова), с другой — вопросы тактики: чистое культурничество у писаревцев, которому Салтыков, как и большинство группы «Современника», противо-

полагал необходимость борьбы — хотя бы и чисто идейной — за социально-политические цели.

Писарев к этому времени решительно отошел от революционных позиций на позиции культурничества. Такой отход воспринимался недавними союзниками как ренегатство. То, что сам Писарев был в это время политическим узником, не ослабляло этого впечатления. Другой антагонист «Современника», В. А. Зайцев, субъективно был настроен



М. Е. Салтыков (Н. Щедрин)

Фотография 1860-х гг.

Институт Русской Литературы, Ленинград

более революционно. Но смыкаясь с Писаревым в его отношении к естественным наукам как к универсальному средству прогресса, и Зайцев объективно играл ликвидаторскую роль. Это вызывало отпор со стороны «Современника» и его «хроникера» — Салтыкова-Щедрина. Политическую позицию самого Салтыкова нельзя считать в это время окончательно оформленной, но для него было во всяком случае ясно, что борьба за интересы массы (крестьянской в первую очередь) не может быть ни ослаблена, ни отсрочена. Привлекая к делу факты салтыковской биографии (среди них такой «выигрышный», как недавнее его вице-губернаторство), ловя Салтыкова на отдельных тактических ошибках, становясь внешним образом на защиту Чернышевского против Салтыкова, Писарев и Зайцев, на первый взгляд, казались левее, революционнее. При

ближайшем анализе это впечатление оказывается ошибочным. Расхождения Салтыкова с Чернышевским касались деталей, в то время как сами писаревцы идеологически отстояли от Чернышевского очень далеко.

При взгляде с еще большего расстояния, когда разница между идеологиями обоих журналов игнорируется, вся полемика может представиться чем-то несерьезным и случайным: ссорой единомышленников по личным мотивам. Это впечатление было бы тоже ошибкой, и притом ошибкой очень грубой. Личные выпады с обеих сторон не должны закрывать принципиального существа полемики. Личные выпады необходимо учесть и изучить как показатели, как фокусы, в которых сосредоточивается борьба социальных и литературных сил — борьба идеологий. Подлинно мотивы борьбы часто бывают глубоко скрыты; личная полемика сама по себе может отвлекать внимание в сторону от этих подлинных мотивов. Именно такое искаженное впечатление от полемики двух журналов выносили как современные публицисты правого и либерального лагеря, злорадствовавшие по поводу «раскола в нигилистах», так и некоторые позднейшие реакционные историки литературы, для которых этот «раскол» был личной склокой — не больше. Но стоит уяснить себе принципиальные основания полемики, и каждый эпизод ее, даже наиболее случайный и личный, неминуемо представится в новом свете.

Полемика начата была «Русским Словом». Первым ее эпизодом был выпад В. А. Зайцева против Салтыкова в апрельской книжке «Русского Слова» за 1863 г. («Перлы и алмазаны русской журналистики» — анонимная, но несомненно принадлежащая Зайцеву статья). Поводом было пародийное объявление в «Свистке» («Современник», апрель) о статье «Опыты сравнительной этимологии или Мертвый дом по французским источникам. Поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева» (псевдоним Салтыкова, которому принадлежал и текст заметки). Защищая роман Достоевского — конечно по мотивам его общественной значительности, — Зайцев дважды подряд задел Салтыкова одним и тем же намеком:

«...смеяться над «Мертвым домом» — значит подвергать себя опасности получить замечание, что подобные произведения пишутся кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола».

И несколько ниже, по поводу салтыковского же обещания написать сколько угодно таких книжек, как «Время»:

«А между тем этот некто, со всеми сотрудниками «Современника», исключая автора «Что делать?», не написал еще ничего, что бы можно было сравнить с несколькими страницами Мертвого дома Ф. Достоевского. Советую и свистунам «Современника» бросить вице-губернаторский тон. Свистеть так свистеть, а не распекать».

Зайцев таким образом открыл полемику с Салтыковым сразу в двух направлениях — личном и литературном. С одной стороны, Салтыкову ставилось на вид его вице-губернаторское прошлое, его связь с кругами правящей бюрократии, и тем самым брался под сомнение его позднейший радикализм (на самом деле вырабатывавшийся в процессе сложной и глубоко искренней идейной эволюции). С другой стороны, принижалось его литературное значение: он ставился на одну доску со «свистунами», что в данном контексте означало безобидных юмористов и значительно ниже крупных писателей как дружественного лагеря (Чернышевский), так и враждебного (Достоевский). Обе эти темы получили свое развитие в полемике следующего года.

Сам Салтыков склонен был объяснять нападение Зайцева личными мотивами. В статье «Гг. семейству М. М. Достоевского», речь о которой еще будет, он писал: «г. Зайцев в 1863 году обращался ко мне с статьями, и когда они не были приняты, уж кистил же он меня, уж кистил в «Русском Слове»!» Надо думать, что Зайцев обращался к Салтыкову раньше, чем написал «Перлы и алмазаны».

В 1863 г. полемика не продолжалась, и первым известным в печати откликом Салтыкова на выпад Зайцева была январская хроника 1864 г. из цикла «Наша общественная жизнь». Все, кто писал об этой хронике, отмечали по преимуществу одно ее место с упоминанием о «зайцевской хлыстовщине» и с насмешками над нигилистами и нигилистками — будущими и настоящими. В настоящем нигилисты, «птенцы» в изображении Салтыкова, надеются, «что откуда-то сойдет когда-нибудь какая-то чаша, к

которой прикоснутся засохшие от жажды губы», в то время как чаша «уж давно стоит на столе, да губы-то ваши не сумели поймасть ее». Это был темный и недолкий намек на корыстные цели, какие будто бы преследуют писаревцы, проводя свои социальные теории; тот же смысл имели анекдоты о зависти нигилистки к богатой содержанке и о расквашенном нигилисте, уверяющем, что «все там будем» (там—т. е. в лагере Каткова); тот же смысл имело и предсказание о превращении нигилистов в титулярных советников⁴. Изображение нигилисток, поющих и пляшущих при рассекании трупа, затрагивало уже не только писаревцев, но и Чернышевского (намек на четвертый сон Веры Павловны в «Что делать?»). Все эти выпады против группы «Русского Слова» в первой же главе январского фельетона 1864 г. были в салтыковской литературе использованы. Но выпады продолжают и в следующей главе: в описании ужина (или обеда) у некоего петербургского мецената.

Так как на это место не обратили внимания ни Пыпин (вообще очень «деликатно» скользнувший по «расколу в нигилистах»), ни Иванов-Разумник (только глухо назвавший фамилии Бенескриптова и Кроличкова как псевдонимы Писарева и Зайцева), ни Б. Козьмин, я приведу нужную цитату:

«Одного такого мецената⁵ я знал даже в Петербурге, и, хотя был у него всего один раз, но видел достаточно, чтоб не желать повторения посещений. Я видел, как мрачный философ (*philosopho di forza*) Ризположенский пожирал фазана на тарелке *vieux saux*; я видел, как легкий философ (*philosopho di grazia*) Семечкин выпил разом три рюмки водки из богемского хрусталя и жадно искал ополоумевшими глазами колбасы, но не находил ничего, кроме страсбургского пастета и разных подстрекающих аппетит сыров, я видел, как

Шекснинска стерлядь золотая

сделалась жертвой плотоядности критика Кроличкова; я видел, как страдал мажордом мецената, стоя за столом публициста Бенескриптова, и чуть-чуть не вслух восклицал: «*embourbé! embourbé!*»⁶—я видел все это и страдал не менее самого мажордома. Я думал: «как очутился ты здесь, бедный трудящийся люд? что общего между тобой и этим гнилым расслабленным меценатом, у которого даже головы совсем нет, а есть, вместо нее, какое-то прозрачное на свет яйцо? Зачем притащился ты сюда с холодного твоего чердака, где, по крайней мере, честно зарабатывал свой незавидный кусок хлеба? *embourbé! embourbé!*»

Дальше рассказывается о том, как меценат покупает «согбенного перед ним в дугу» Ризположенского, давая денег и поднося рюмку водки с тем, чтобы он проводил его идеи.

Под меценатом здесь разумеется конечно граф Г. А. Кушелев-Безбородко, бывший до 1862 г. собственником «Русского Слова», под Ризположенским—Благосветлов; менее ясен псевдоним Семечкина—может быть это Н. Соколов. Важнее в данном случае, что Писарев и Зайцев были задеты лично, хотя и с оговорками о сочувствии к ним, а не к меценату, но в этом сочувствии было немало пренебрежительно-высокомерного и значит тем более обидного. Писарев и Зайцев не могли конечно показать, что узнали себя в псевдонимах Бенескриптова и Кроличкова, но изображение их в виде прихлебателей (с достаточно дурными манерами) у какого-то «от глупости оплешивевшего мецената» не могло не подлить масла в полемический огонь.

«Русское Слово» не уклонилось от продолжения полемики и выступило против Салтыкова в февральской книжке двумя большими статьями за подписью авторов—Писарева и Зайцева. Статья Писарева «Цветы невинного юмора» не была связана с этой полемикой непосредственно: это была распространяемая рецензия на только что вышедшие книги Н. Щедрина—«Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе»; но по существу Писарев подхватывал и развивал намек, брошенный в 1863 г. Зайцевым, а еще ранее (см. ниже) Достоевским: Щедрин—не серьезный литератор, а безбидный и беспринципный юморист, «свистун», представитель «чистого искусства» новой формации. Писарев шел дальше, утверждая, «что влияние Щедрина на молодежь может быть только вредно», и задаваясь целью «разрушить пьедестальчик этого маленького кумира». Вслед за Зайцевым и он отводит место Щедрину в ряде «втростепенных беллетристов» (не упо-

миная впрочем о Достоевском) и дает совет, в котором сказывается вся глубина пренебрежения к литературному значению Салтыкова: «за неимением своих оригинальных идей... популяризовать чужие идеи», переводить и компилировать европейские работы по естествознанию⁷.

Статья Писарева имела вид непричастной к полемике, но намеки и даже прямые ссылки на полемику есть и в ней. Определив Щедрина как представителя чистого искусства, Писарев продолжал: «принимаясь за перо, он также не предлагает себе вопроса о том, куда хватит его обличительная стрела — в своих или в чужих, в титулярных советников или в нигилистов». К этой фразе сделана ссылка: «Сия последняя острота, побивающая разом и титулярных советников и нигилистов, украшает собою страницы «Современника» (см. «Наша общественная жизнь», 1864 г., январь). Мало того: Писарев подхватил и другую сторону зайцевского нападения и тоже намекнул на вице-губернаторство: «к смеху г. Щедрина, заразительно действующему на читателя, вовсе не примешиваются те грустные и серьезные ноты, которые слышатся постоянно в смехе Диккенса, Теккерея, Гейне, Берне, Гоголя и вообще всех не действительно статских, а действительно замечательных юмористов».

Если статья Писарева связана с «Перлами и алмазами» Зайцева лишь отчасти, то сам Зайцев в статье «Глуповцы, попавшие в Современник» прямо продолжает свою статью 1863 г. и вместе с тем непосредственно отвечает Салтыкову на январскую «Нашу общественную жизнь».

Горячо и раздраженно отвечал Зайцев на все нападки и намеки Салтыкова. По поводу «чаши», т. е. возможности ренегатства и материального благополучия, Зайцев уколол Салтыкова намеком на «Мишу и Ваню» — монархическую фразу в первоначальном тексте этого рассказа. По поводу «титулярных советников» попрекнул Салтыкова его собственным более высоким чином. На слова «все там будем» заносчиво возразил: «еще кто будет или нет, а вы ведь уж давно там». По поводу изображения нигилистов попрекнул солидарностью с Писемским и отступничеством от традиций Добролюбова. Но самым оскорбительным для Салтыкова был первый абзац статьи, в котором Салтыков разоблачался как сановник, который лишь притворно сменил свой сановнический мундир на «костюм Добролюбова» и теперь «возвращается под родительский кров» (т. е. в лагерь реакции): «да, это он, тот самый, который «благоденствовал в Твери и в Рязани» и который с тех пор в продолжение целого года представлял собою величественное зрелище будирующего сановника».

Продолжается в этой статье и «одергивание» Салтыкова как писателя, при чем литературные нападки попрежнему объединяются с лично-биографическими. Насмешки над «Мертвым домом» опять излагаются как бестактность, как «следствие привычки к повелительному наклонению» (новый вариант упреков в «вице-губернаторском тоне»).

Что группа «Русского Слова» была задета не только принципиально, но и лично — показывают слова Зайцева о «темных намеках и закулисных сплетнях», о «верхушках и хвостиках клеветы»: здесь вероятно имеется в виду картина ужина у мецената в январской хронике Щедрина.

Салтыков отвечал в ближайшей мартовской хронике. Первоначально он предполагал посвятить полемике с Зайцевым особую статью в форме открытого письма «Неизвестному корреспонденту» за подписью «Хроникер «Современника»». Это публикуемое ниже письмо сохранилось, как было указано, в архиве Пыпина в гранках. Оно составлено как ответ на чье-то действительное или вымышленное приглашение — «отказаться от немногих слов, сказанных в последней общественной хронике относительно нигилистов». По существу оно совпадает с содержанием мартовской хроники; но есть и отличия: любопытно между прочим, что пример «вислоухих и юродствующих» берется и из правого лагеря (славянофил, все славянофильство которого заключается в поддевках, мурмолах и рубахах с подоплеками). Не вошел в мартовскую хронику и такой пример: «если я встречаю человека, который говорит, что он материалист, и доказывает это тем, что каждый день обжирается и напивается, а вечером ходит в танцкласс к Ефремову, то я говорю ему: нет, ты не материалист, а свинья». Poleмические страницы мартовской хроники значительно разрослись по сравнению с этим первоначальным наброском от-



Годъ II. Сатирическій журналъ съ каррикатурами.

№ 33.



Приветная всем, иная дати, въ издѣніи Любителей Русскаго Слова, я привѣтствую одного изъ васъ, какъ дѣятеля чисто художественной литературы, а другого, какъ представителя литературы обличительной. Первому, я скажу: идите по прекрасному пути вашъ избранному — я вполнѣбсочувствую вамъ; а другому замѣчу, что только отчасти я признаю законность обличительнаго направленія и сдѣлаю посылку — упрѣкъ нашимъ періодическимъ изданіямъ, представляющимъ безпрестанно примѣры клеветы и приписывающимъ незаконную дерзость за законную свободу. Но я убрѣюсь, что ни одинъ изъ васъ не затѣеетъ посягнуть примѣру этого облича- тельнаго писателя, котораго я позволяю себѣ, считая даже обязанностію, назвать заслуженнымъ именемъ гусскаго клеветника и отаргументированнаго сплетника — въ поворочу, столбу общественаго чина.

ОБЛОЖКА «ИСКРЫ» 1860 г., № 33, ПОСВЯЩЕННОГО СПОРАМЪ О ЗАДАЧАХЪ И НАЗНАЧЕНІИ ЛИТЕРАТУРЫ

А. С. Хомяковъ (слева) и Л. Н. Толстой (справа) — представители «чистой художественности»;
В. Н. Елагин (в центре) — последователь Щедрина — представитель «обличительной литературы»

вета: прибавились пространные объяснения по вопросу о романе Чернышевского и теории Фурье; вместе с тем отношение к противникам осталось столь же резким: неназванное «Русское Слово» определялось как «невинный, но разухабистый орган невинной нигилистской ерунды». Кроме того на первых же страницах мартовской хроники иронически упомянут «величайший из критиков нашего времени Кроличков»: конечно к нему лично относилось в первую очередь и прозвище «вислоухого и юродствующего».

Изложение полемики в книге Иванова-Разумника на этом эпизоде заканчивается. Б. Козьмин бегло упоминает и о следующем эпизоде: об ответной анонимной статье «Русского Слова» («Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист «Современника», «Русское Слово», апрель) и цитирует из нее одну фразу. Статья эта в истории полемики играет немалую роль. Вопросом об авторе статьи Б. Козьмин не интересовался; между тем указывая на авторство можно извлечь из самого текста статьи. Анонимный автор выступает все время от лица «Русского Слова»; статья приобретает характер редакционной, обращенной притом как своего рода дипломатическая нота не к Салтыкову только, но и к редакции «Современника»:

«Что сходит с рук какой-нибудь «Занозе», где сплошная глупость покрывает собой все, то едва ли сойдет в таком журнале, как «Современник»; и мы еще раз предупреждаем его, что есть границы унижения, за которыми возратить прежнее сочувствие уже будет не легко... Ведь нашло же «Русское Слово» возможность не смешивать уважаемых нами сотрудников «Современника» с чужой овцой, попавшей в их круг».

Заступаясь за молодое поколение, автор однако все время говорит не от его лица, а как старший, как сверстник Салтыкова:

«Не много пользы молодому поколению от наших комплиментов, но и нет надобности глумиться над ним... Если в его стремлениях есть много неугаданных целей, несбывшихся надежд, даром потраченных сил и увлечений, если в среде его есть и жалкие Кирсановы и Кукушины, то все же в общем оно лучше нас с вами, фельетонист «Современника», и по выродкам его еще нельзя произносить приговор над целым поколением...»

Все это с достаточной степенью вероятия указывает на автора статьи. Это очевидно Г. Е. Благовосветлов, возглавлявший «Русское Слово». Благовосветлов в 1865 г. не был стариком — ему было 40 лет, но из видных сотрудников «Русского Слова» он был старшим, был сверстником Салтыкова, а не Писарева и Зайцева, которым было в это время одному 24, а другому 22 года⁸.

Но «Русское Слово» не ограничилось этим редакционным ответом: в том же апрельском номере был помещен — и тоже анонимный — фельетон, почти целиком занятый личным памфлетом против Салтыкова или, как выражался позже сам Салтыков, его биографией «в шутивом, но пакостном тоне». Этот эпизод полемики и все, что следовало за ним, ускользало от внимания исследователей вовсе. Самый фельетон настолько важен, что текст его необходимо привести полностью; это и сделано в настоящей книжке.

Фельетон — кто бы ни был его автором — должен был задеть Салтыкова чувствительно. Хотя смысл фельетона несколько завуалирован тем, что в начале и в конце говорится о всякой всячине: о всевозможных журналах и именах, о юбилее Шекспира, даже о «весне как лучшем времени года», но ясно, что все это обрамление написано для отвода глаз. Центр фельетона: «романс в действии» — «Ты пойми, пойми, мой милый друг». Но еще раньше, в первом разделе фельетона, Салтыков затронут дважды: сначала прямыми цитатами из мартовской «Нашей общественной жизни», а затем оскорбительным зачислением в категорию случайных литераторов, которые «так же долго держатся в литературе, как кухарка, потерявшая место, проживает на квартире — то есть до первой открывшейся вакансии»: явный намек на бюрократическую службу Салтыкова. «Романс в действии» и должен был, по заданию автора, дать характеристику «подобных господ».

Что перед нами личная сатира на Салтыкова — не приходится сомневаться. Самое заглавие — «Ты пойми, пойми, мой милый друг» — пародия на романские заглавия очерков

о «Помпадурах», которые в это именно время печатались (ближайшим образом — очерка «Здравствуй, милая, хорошая моя», помещенного в одной книжке с первым нападением и на нигилистов вообще, и на отдельных сотрудников «Русского Слова»). Самый жанр пародийной биографии тоже указывает на Салтыкова (ср. напр. биографию Васи Чубикова в мартовской «Нашей общественной жизни»). Все это должно было помочь читателю раскрыть реальный прототип «Яши Злючкина» (фамилия опять указывала на общеизвестную литературную, да и житейскую репутацию Салтыкова), а имя (если не было взято просто первое попавшееся) — на рассказ Салтыкова «Яшенька», теперь забытый, но тогда еще свежий в памяти (напечатан в 1859 г. в сборнике литературных статей памяти А. Ф. Смирдина). Дальше идут один за другим прозрачные намеки на факты действительной биографии Салтыкова. Яшу отдают учиться «в самое чистое заведение» — «куда все дворяне отдают — где почище» (т. е. в лицей); окончив, он поступает в министерство; не имея успеха, решает «слиберальничать» по французской книжке» (т. е. написать повесть с идеями французского утопического социализма); за это «беднягу изгнали», и он «на год, на два совершенно пропадает из виду», а на третий «мы встречаем его в провинции, занимающим очень невидное место». Здесь — либо намеренное замечание следов, либо неосведомленность памфлетиста: «невидное место» чиновника особых поручений Салтыков занимал уже через два месяца после приезда в Вятку, а на третий год» был уже советником вятского правления. Но подробностей вятской службы Салтыкова памфлетист вообще не знал: иначе разве прошел бы он мимо такой благодарной для него темы, как следовательская работа Салтыкова по раскольничьим делам? Кроме того слишком явно намекать на ссылку Салтыкова и на освобождение из ссылки было конечно нельзя. Поэтому весь вятский период изложен довольно бесцветно и приблизительно: «Целые шесть или семь лет злобствовал Яша»... наконец в 1856 г., когда «вышло разрешение» говорить о «прогессе» и «гласности», Яша, мечтающий стать чиновником пятого класса, делает карьеру: «в числе обличителей Яша стоял на первом месте». Его заметили и дали порядочное место. Петербургская служба Салтыкова опускается, и действие переносится в провинциальный город (т. е. очевидно в Рязань). Толки о новом начальнике, причастном и к литературе, изображены довольно зло, но вряд ли передают какие-либо фактические слухи. Разговор Яши с «мозгами», упоминание о Молешотте — все это ответные уколы за мартовскую «Нашу общественную жизнь» («им кажется, что вся Россия взирает на них и что сам Молешотт напутствует их из своего далека». «Современник» 1864 г., № 3, стр. 61). Мечтая о повышении из пятого класса в четвертый, Яша просит «перевода на то же место» (перевод Салтыков в Тверь в 1860 г.), одновременно он пишет статью, в которой хочет «всех здешних, — т. е. рязанских — отхлестать». Рязанские впечатления Салтыкова отразились конечно в его цикле «Сатир в прозе», начатом именно в 1860 г., но «Капулуны», на которые намекает фельетонист, не имеют отношения ни к Рязани, ни к 1860 г. Упоминание о «Капулунах» очень любопытно: заглавия «Скопствующие каплуны» и «Каплунствующие скопцы» имеют в виду конечно этот очерк, а не отдельные отзвуки его в салтыковском тексте. Очерк был запрещен цензурой в 1862 г. и параллельно с цензурной историей вокруг него назревало недовольство в руководящей группе «Современника» (так как смысл его заключался в той же борьбе против «теоретиков», которую Салтыков продолжал и в 1863—1864 гг.). Слухи об этом эпизоде несомненно ходили в литературных кругах, но содержание очерка в целом оставалось неизвестным; так что автор фельетона мог и не сознательно, а просто по неосведомленности связать «Капулунов» с «отхлестыванием» рязанцев.

За рассказом о неуспехе Яши Злючкина в новом городе (т. е. Салтыкова в Твери) следуют два совета «мозгов». Первый совет — «сретроградничать» — Яша исполнил, после чего «потерял кредит и в противном стане, где он тоже не мало заискивал». Здесь очевидный намек на эпизод с прокламациями «Великорусс», которые Салтыков, получив на свое имя, представил губернатору и притом, следуя точному распоряжению министерского циркуляра, представил вместе с конвертом и этим навел тайную полицию на след Обручева. Известно, что этот эпизод действительно повредил репутации Салты-

кова в кругу «Современника». Второй совет «мозгов» — покупка деревеньки и попытка наладить в ней рациональное хозяйство — тоже биографический факт: Витенево было куплено Салтыковым в это именно время.

После этого «Цинциант наш вдруг очутился в числе людей, близких к редакции одного журнала» (т. е. «Современника» — с 1863 г.); заискивание перед «мальчишками» и, после неуспеха, нападение на них в объяснениях не нуждается.

Последние 8 страниц фельетона не имеют к Салтыкову никакого отношения и вероятно прибавлены для затемнения основного смысла. Перепечатывать их в номере, посвященном Салтыкову, нет оснований (напротив, начало фельетона дается целиком для полного восстановления того контекста, в котором начинаются нападки на Салтыкова).

Но полемика не вполне заканчивается и этим эпизодом. В печати Салтыков не отвечал и только слегка затронул Зайцева-Кроличкова в майской книжке «Современника». Но не все, что Салтыков писал, и даже не все, что он сдавал в набор, появлялось в печати — в данном случае может быть и потому, что редакция «Современника» приостановила полемику. Так по крайней мере утверждал Достоевский в своем памфлете (о котором еще будет речь) — «Господин Щедрин, или раскол в нигилистах» («Так что «Современник», говорят, даже и струсил, до того струсил, что запретил будто бы и Щедрина вести дальнейшую полемику с «Русским Словом» и, так сказать, посягнув на свободу «пера». Все это не более, как слухи, но эти слухи тем более усилились, что в апрельской книге «Современника» г. Щедрин, очевидно, стушевывается»).

Слух, исходящий из враждебного лагеря, мог быть близок к правде. Видимо для апрельской книжки «Современника» Салтыков готовил следующую хронику «Нашей общественной жизни»; очень вероятно, что в ней продолжалась полемика, но эта хроника до нас не дошла. Дошло лишь ее продолжение, предназначенное для майской книжки, и дошло в двух последовательных вариантах (см. ниже публикации обеих не появившихся в печати хроник). В той и другой есть отзвуки полемики, хотя и не очень значительные. Более значительный — в корректурном (повидимому первом) варианте (пометка на корректуре: «17 апреля»; последние абзацы хроники отвечают на писаревскую статью, о которой мартовская хроника вовсе не упоминала):

«На днях один из знаменитейших наших ерундивов упрекнул меня: вы, говорит, для глуповцев пишете, вы глуповский писатель. И думал, вероятно, что до слез обидел меня такою острою речью. А вышло совсем наоборот: я принял эту речь себе за похвалу. Неужели же вы думаете, милостивый государь, что я пишу не для глуповцев, а желаю просвещать китайского богдыхана? Нет, я в мыслях не имею такой высокой мысли и представляю ее ерундивам высшей школы. Я деятель скромный, и в этом качестве скромно разрабатываю скромный глуповский вертоград. Поэтому-то я и говорю с глуповцами языком им понятным и очень рад, если писания мои им любезны.

Ибо, огражденный любовью глуповцев, я могу дерзать на многое: могу не обращать даже внимания на то, что будут говорить об моей деятельности наши литературные хлысты, скопцы, нетовцы, адамиты, кушидоны и прочая ерундоносная братия»⁹.

В другой вариант неизданной «Нашей общественной жизни» («Итак история утешает...») включены иронические упоминания о философе Ризоположенском (Благосветлов), публицисте Скорбященском (повидимому Благовещенский) и наконец Кроличкове. Все это вероятно еще до выхода в свет апрельской книжки «Русского Слова».

Следующее печатное упоминание о Зайцеве-Кроличкове находится в майском номере «Современника», разрешенном цензурой 14 мая, в статье «Литературные мелочи». Так как цензурное разрешение апрельской книжки «Русского Слова» датируется 22 мая, приходится предположить, что в статьях Благосветлова и Зайцева — или по крайней мере о зайцевском памфлете — Салтыкову было известно до выхода номера хотя бы по слухам. Гранки, помеченные 29 апреля, заключают в себе целый раздел, специально посвященный Зайцеву-Кроличкову. В раздраженном, хотя и сдержанном тоне Салтыков дает набросок его биографии — несомненный ответ, или вернее предвосхищение ответа, на биографию Яши Злючкина. Привожу это место, исключенное вероятно по настояниям редакции и в печати до сих пор неизвестное:

«ВСТРЕЧА ПРИЯТЕЛЕЙ»

— Ого! какой раглан на тебе! Верно обстоятельства переменялись, — видно ты на хорошем жалованьи?

— Все так же — те же 23 р. сер., да не в них дело — местечко тепленькое...

— Гм!.. А ты читал «Губернские очерки» Щедрина?

— Нет еще, но вот купил, — говорят хорошая вещь...

— Прочти, прочти, книга весьма назидательная...

Рисунок П. Анненского из «Сына Отечества» 1857 г.



«Я мог бы многое сказать здесь о философе Кроличкове, но умалчиваю об этом только потому, что он Кроличков, а не Зайцев. Будь он мало-мальски Зайцевым, я, наверное, почтил бы его. Я рассказал бы о том, какие легенды сопровождают его рождение, о том, как он, еще припадая к сосцам своей матери, уже возмущался своею не-самостоятельностью, о том, как он, начитавшись Молешотта, пожирал головки зажигательных спичек, в чайники, что будет от того умнее, о том, как он рассуждал с публицистом Благомрачным, где им следует говеть, о том, наконец, как он, посетив некоторый благопристойный дом, явился туда во фраке, позабыв надеть панталоны, и т. д. и т. д. Но повторяю: я умолчу об этом, потому что я милосерд.

Однако не могу скрыть: Кроличков занимает меня. Это своего рода тип. Тип, правда, мизерный и ничего не доказывающий, но во всяком случае тип. Есть множество людей, которые положительно только бременят землю своим по ней шатанием, но опытный общественный физиолог не должен пренебрегать и ими в своих исследованиях, ибо они представляют собою те самые уродливости, которые свойственны именно такому, а не другому общественному строю.

И до такой степени отчетливо и ясно восстает этот тип передо мной, что много мне нужно над собой власти, чтобы преодолеть желание изобразить его. И, уверяю вас, что это был бы совсем не гимназист Горобец¹⁰ или прогрессист-кадетик из «Взбаломученного моря», нет, это был бы человек, в полной мере и совершенно искренне убежденный, что употребление в пищу зажигательных спичек удвоит его умственные способности.

Когда-нибудь, впрочем, я представляю себе заняться этим типом в полное свое удовольствие. Когда? — это другой вопрос, разрешение которого будет зависеть от времени и степени досуга, которым я буду обладать».

С исключением этого места в «Литературных мелочах» осталось два упоминания о Зайцеве: первое предшествовало исключенным абзацам, второе следовало за ними.

Остроумнейшая сводка «настоящих» писателей и их самозванных двойников (настоящий Костомаров — Н. И. и лже-Костомаров — Всеволод; настоящий Крестовский — к сожалению псевдоним¹¹ и псевдо-Крестовский — Всеволод, к сожалению не псевдоним; настоящий Катков, переводчик «Юлии и Ромео», и псевдо-Катков — издатель «Московских Ведомостей») эффектно завершается такой параллелью: «есть настоящий

Зайцев, который ничего не пишет, есть псевдо-Зайцев, который, вместе с Кузьмой Прутковым, собирается написать драму под названием: «Мальчик, у которого фосфор не в голове, а на голове».

На следующей странице по поводу успеха в некоторых, даже и «прогрессивных» кругах образа эмансипированной Инны Горобец из клоуникового «Марева» Салтыков иронизировал: «Даже философ Кроличков — уже на что, кажется, человеконенавистник — и тот, сказывают, одобрил сцену, когда Инна, лишенная одежды и сидя по горло в воде, знакомится с графом Бронским. «Право, хоть бы и мне так поступить!» воскликнул он, забыв, что у него совсем не те атуры¹², которые могут сообщить подобному положению надлежащий интерес». На личные нападки Салтыков отвечает, как видим, издевательством тоже личным — вплоть до высмеивания наружности своего врага.

Наконец последнее из известных мне упоминаний о группе «Русского Слова», как бы подводящее итоги всему эпизоду, находится в публикуемом ниже неизданном отрывке из полемической статьи против Достоевского («Но если уж пошла речь об стихах...») и датируется самым концом 1864 г. (повидимому первой половиной декабря).

Истолковав пушкинский отрывок о «срамцах» в том смысле, что «всех вместе презирать их трудно», потому что все вместе они, как паразиты, слишком опасны, чтобы отделаться от них одним презрением, Салтыков продолжает (неоговоренная разрядка в цитатах здесь и ниже моя):

«В прошлом лете я именно был жертвой такого рода дружных усилий «срамцов». Человекообразные соединились со стрижами, эти последние, в свою очередь, подали лапку амфибиям. Некоторый молодой гиббон (скорее, впрочем, лемуру, нежели гиббон) написал в шутовом, но пакостном тоне мою биографию; некоторый чимпандзе обратился ко мне с серьезным увещанием, что лучше было бы, если бы перестал заниматься беллетристикой, а принялся бы за естественные науки; даже сам старый горилла (портрет его зри в сочинении Гексли: «О положении человека в ряду органических существ», где можно получить и интереснейшие сведения о всех человекообразных вообще) — и тот восплаал ко мне гневом и ненавистью и вознамерился зубами сокрушить конец пера, которым я пишу...»

О стрижах и амфибиях речь еще впереди, здесь нас занимают «челоукообразные», под которыми несомненно имеется в виду группа «Русского Слова» (конечно это намек на пропаганду дарвинизма в «Русском Слове»; в этом смысле образом челоукообразных Салтыков уже пользовался в своем первом ответе «Русскому Слову»¹³ и в публикуемом здесь «Журнальном аде»).

После всего сказанного мы можем раскрыть салтыковские псевдонимы без большого труда. «Гиббон или лемуру» — Зайцев («скорее, впрочем, лемуру» — т. е. скорее обезьяна, чем челоукообразное); чимпандзе (форма «чимпандзе» и «чимпанзе» вместо современного «шимпанзе» была в те годы обычной) — конечно Писарев как автор «Цветов невинного юмора». Наконец «сам старший горилла» — Благосветлов как автор статьи «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист «Современника». Так как отождествление Писарева с шимпанзе и Благосветлова с гориллой совершенно очевидно и так как под «шутливой, но пакостной биографией» только и может разуметься апрельский фельетон «Русского Слова», то тем самым подтверждается и авторство Зайцева; умолчание о Зайцеве-Кроличкове в ряду виднейших сотрудников «Русского Слова» было бы невероятно; ведь статья «Глуновцы, попавшие в «Современник» во всяком случае принадлежала Зайцеву, и неупоминание о ней может быть объяснено лишь тем, что «Фельетон» заслонил в сознании Салтыкова первую зайцевскую статью. Авторство Зайцева подтверждается еще одним упоминанием: в уже цитированной полемической статье Достоевского: «Наконец пошли слухи еще более потрясающие (т. е. еще более, чем первая статья Зайцева и «запрещение» Салтыкову дальнейшей полемики.— В. Г.), стали говорить, что г. Щедрин разрублен пополам г. Зайцевым на две особые половинки...» Эти «две половинки» — конечно беспринципный карьерист Яша Злючкин, он же М. Е. Салтыков, и псевдо-либеральный (каким он выведен в фельетоне) Н. Щедрин.

При определении авторства надо учитывать также особые условия появления этого фельетона. Фельетон появился в апрельской книжке взамен обычного фельетона «Рус-

ского Слова», который из книжки в книжку вел до апреля и продолжал после апреля Д. Д. Минаев (под общим названием «Дневник темного человека»). Но авторство Минаева в отношении и этого фельетона мало вероятно. Во-первых, против него говорит междужурнальная ситуация: Минаев был сотрудником «Современника» и вряд ли стал бы выступать с такой злой и личной сатирой против одного из руководителей «Современника». Во-вторых, тип фельетона тоже не минаевский — без обычной минаевской манеры пересыпать прозу стихами (в тех случаях, когда он вообще обращался к прозе). Создается несомненное впечатление, что Минаев уступил на один месяц свое место кому-то из близко стоящих к редакции лиц, кому надо было рассчитаться с Салтыковым за январскую и за мартовскую хронику вместе; ни на одном другом имени, кроме имени Зайцева, нельзя остановиться даже предположительно.

Все последние соображения в сущности даже излишни, так как за авторство Зайцева говорит вся совокупность доводов, известных из истории этой полемики.

Последнее замечание по истории полемики Салтыкова с «Русским Словом»: книга Гексли, на которую Щедрин ссылается, дает некоторое дополнительное освещение эпизода. Ссылка Салтыкова на «портрет гориллы» косвенно указывает на Благодетель, крупные, грубые и некрасивые черты лица которого могли вызвать подобную ассоциацию. Но особенно важны слова: «где можно получить и интереснейшие сведения о всех человекообразных вообще» — это указание открывает как бы второй, скрытый план салтыковской сатиры; ознакомившись с книгой Гексли, можно существенно дополнить эту сатиру «сведениями» например о резком и пронзительном крике гиббонов, о свойстве шимпанзе, при нападении на человека, кусаться, о реве гориллы и т. п. Книгой Гексли Салтыков пользовался как своеобразным оружием в борьбе со своими литературными врагами.

* * *

Теперь необходимо осветить ту сторону полемики, которую Салтыков характеризовал словами: «Человекообразные соединились со стрижами». Poleмика Салтыкова с журналами Достоевского началась, как известно, еще в 1863 г.; фактически первым толчком было нападение Салтыкова на Г. П. Данилевского, после чего в полемику вступил Ф. М. Достоевский. Здесь нет надобности вспоминать все перипетии полемики 1863 г.; важнее оценить ее общий смысл¹⁴. Для понимания этого смысла необходим учет эволюции «Времени», с одной стороны, и учет эволюции Салтыкова — с другой.

«Время» начинало в 1861 г. как орган буржуазного либерализма; полемика с «Современником» если и велась, то по вопросам сравнительно мало острым; в полемике «Современника» с «Русским Вестником» «Время» оказывалось скорее союзником «Современника» по правую группу — «Русский Вестник» и «День» — были направлены главные его нападения. Общее направление «Времени» делало вполне возможным сотрудничество в нем, хотя и не частое, Салтыкова и Некрасова. Но с течением времени и с выяснением дальнейшей расстановки сил — после польского восстания и обострения революционной борьбы внутри России — «Время» и особенно продолжавшая «Время» «Эпоха» самоопределились как ближайшие союзники московских славянофилов; в лагере идеологов прусского пути «Эпоха» заняла позицию центра, и скорее правого, чем левого. В то же время эволюционировал и Салтыков, но уже в прямо противоположную сторону. И не только общая перемена взаимоотношений двух журналов отражала эти принципиальные сдвиги, но и в личной полемике между Достоевским и Салтыковым явно звучит одна основная нота: взаимное разочарование друг в друге. Достоевский раздосадован утратой союзника — переходом автора либеральных «Губернских очерков» к радикальной «Нашей общественной жизни»; Салтыков не прощает Достоевскому перехода от «Бедных людей» (игра «Шинелью»!) и «Мертвого дома» («по французским источникам») — т. е. от произведений, в той или иной мере не чуждых влияниям утопического социализма, — к «Скверному анекдоту» с насмешками над обличителями и наконец к воинствующим «Запискам из подполья». Достоевский стремится представить Салтыкова умеренным либералом и в сущности отнюдь не сатириком («вы и обличали

не из негодования какого-нибудь... а просто потому, что обличение модная так сказать «струя»). Приведенная цитата взята из статьи 1863 г. «Опять молодое перо», но особенно показательна фраза предыдущей статьи «Молодое перо»: «Или вы уж так весь впились в интересы редакции «Современника», что, впиваясь, оставили прежнее у порога?»

В этом свете должна быть рассмотрена и полемика 1864 г. Возобновил ее Достоевский выпадом против Салтыкова, правда, не названного, в «Записках из подполья»¹⁵; сущность выпада заключалась в том, что Салтыков как автор очерка «Как кому угодно» был назван поклонником «гадчайшей и бесспорной дряни» (разумелся под ней фурьеризм, ревизия которого была темой многих работ Салтыкова этих лет). Салтыков не остался в долгу и в «Стрижах» («Современник», 1864 г., № 5) не только спародировал «Записки из подполья», но тут же высмеял всю редакцию «Эпохи» в целом и каждого из ее сотрудников в отдельности. Полемика «Современника» с «Русским Словом» в это время еще продолжалась. Февральская книжка «Русского Слова» со статьями Писарева и Зайцева уже вышла, и Страхов в третьей книжке «Эпохи» (вышедшей в начале мая), еще не зная ни о «Стрижах», ни об апрельском «Русском Слове» с новыми нападениями на Салтыкова (дозв. ценз. 22 мая), сочувственно цитирует Писарева — конечно не теоретическую часть его статьи, а только конкретный анализ щедринской сатиры. Неудивительно: в нем, хотя и с другой точки зрения, варьировалась та же мысль о «безобидности» салтыковского юмора, которую колом Салтыкова Достоевский еще в 1863 г. На «Стрижей» отвечал уже Достоевский фельетоном «Господин Щедрин или раскол в нигилистах» в майской книжке «Эпохи» (вышла в первой половине июля, ценз. раз. 7 июля). К этому времени уже появилось апрельское «Русское Слово» со статьями Благодетельского и с «Романом в действии», и Достоевский, как увидим, не оставил их без внимания.

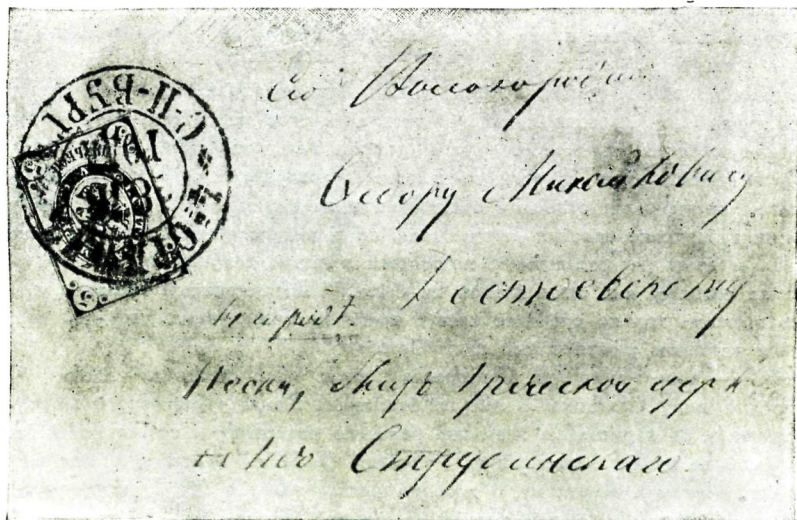
Начало статьи Достоевского необходимо привести:

«У нас, в литературном и преимущественно в журнальном мире, случаются целые катастрофы, даже почти романы. Вот, например, недавно, очень недавно, случилась странная кутерьма. «Русское Слово», орган неумеренных нигилистов, напал на «Современник», орган умеренных нигилистов. С горечью попрекнуло «Русское Слово» «Современник». Из этих попреков усматривается, что «Современник» теперь уже не современник, а ретроград, потому что позволил г. Щедрину, своему сотруднику, писать о мальчишках, о каких-то «вислоухих», о ничего не понимающих и все портящих, о каком-то «засиживании» и, наконец, о ужас! чуть ли не об эстетике. Ясное дело, что «Современник» ретроград. И это в том органе, где писали Белинский и Добролюбов!» Ужас! ужас! Так что «Современник», говорят, даже и струсил, до того струсил, что запретил будто бы г. Щедрину вести дальнейшую полемику с «Русским Словом» и, так сказать, посягнул на свободу «пера». Все это не более, как слухи, но эти слухи тем более усилились, что в апрельской книжке «Современника» г. Щедрин, очевидно, стусевывается. Наконец пошли слухи еще более потрясающие: стали говорить, что г. Щедрин разрублен пополам г. Зайцевым на две особые половинки» (и т. д.).

Это начало нужно было процитировать полностью, чтобы стало ясно, что Достоевский использовал оба момента полемики «Русского Слова» с «Современником». Первый — февральская книжка: нападение «Русского Слова» на «Современник». На эту же книжку, на статью Зайцева, указывает и цитата: «И это в том органе, где писали Белинский и Добролюбов!» Ужас! ужас! Второй — апрельская книжка: «наконец пошли слухи еще более потрясающие». Фраза о «двух особых половинках» дает указание, что и современники считали автором апрельского фельетона Зайцева. На этот же зайцевский фельетон сделана ссылка и дальше: «Ведь не может же быть, чтоб «Современник» действительно захотел противоречить всему тому, о чем проповедывал в последние годы и, по их понятиям, — «сретроградничал». Совет «сретроградничать», как уже было сказано, давали Яше Злючкину «мозги». Другая цитата из апрельского «Русского Слова», но уже из статьи Благодетельского: слова, что «г. Щедрин выражает вовсе не убеждения, а испускает какую-то желтую жидкость». Помимо этих ссылок вводные страницы статьи Достоевского интересны передачей различных журнальных «слухов» или, как

справедливо оценивали их и Салтыков, и Антонович, сплетен. Эти сплетни исходили вероятно из верных источников. Первая, уже упомянутая,—будто «Современник» запретил Щедрина продолжать полемику с «Русским Словом»; в основе ее могли быть действительные факты редакционных трений, о которых, хотя и по другому поводу, упоминается в позднейших воспоминаниях М. А. Антоновича. Вторая, ни разу еще не проверенная биографами Салтыкова, излагается вслед за только что приведенной цитатой: будто Щедрин, рассорившись с «Современником», «соединяется с каким-то посторонним сатириком» (т. е. очевидно с Антоновичем) и «едет в Москву издавать там свой собственный сатирический журнал».

Центральной составной частью статьи Достоевского был конечно «Отрывок из романа Щедродаров» — тоже своего рода «биография в шутивом, но пакостном тоне», при том самой формой «отрывка» смыкающаяся с фельетоном «Русского Слова». Примы-



АВТОГРАФ М. Е. САЛТЫКОВА НА КОНВЕРТЕ ЕГО ПИСЬМА

К Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ, 1876 г.

Центрархив, Москва

кая к зайцевской «биографии», роман о «Щедродарове» вместе с тем продолжает нападения 1863 г.; ближайшая же цель его — поразить Салтыкова его же оружием; ответить на «Стражей» высмеиванием и Салтыкова лично, и редакции «Современника» в целом. Здесь продолжают все те же обвинения: «злость для злости», «искусство для искусства», юмористика для юмористики и т. п., которыми язвили Салтыкова и сам Достоевский в 1863 г., и Писарев в 1864 г. Не излагая всей сатиры, которую можно найти в двух последних собраниях сочинений Достоевского (1918 и 1930 гг.) и общий смысл который уже достаточно объяснен комментаторами, я обращаю внимание для связи с предыдущим только на одно место. Одно из «условий», которые ставят Щедродарову, заключается в том, что заявляющие себя прогрессистами — неприкосновенны, их надо защищать, как бы они ни «забездобразничались».

«...И хотя бы такой перед вами явился даже...

— Даже в пьяном виде,—перебил Щедродаров с юмором, так и ожидая, что вот все покатытся со смеху, как от «фигов», и тотчас же похвалят его за веселость. Но он рассчитывал без хозяина. Это был народ угрюмый, которого не проймешь юмористикой. Прерванный оратор нахмурился и внятно, раздельно и строго произнес: «Да-же в пьяном ви-де-с. Щедродаров струсил».

Нельзя не видеть здесь намек на салтыковскую картину ужина у мецената, где сотрудники «Русского Слова» были изображены, хотя и не прямо «в пьяном виде», но

достаточно близко к тому. Это место дало повод Антоновичу уже буквально изобразить в пьяном виде Ап. Григорьева.

Группа «Эпохи», как и группа «Русского Слова», выступала против Щедрина сплоченно. Достоевский в «Эпохе» тоже не был единственным. Обращу внимание на одно-временные упоминания Ап. Григорьева о Салтыкове. В той же майской книжке «Эпохи», где напечатан «Щедродаров», в «Парадоксах органической критики», Ап. Григорьев говорит о Салтыкове-Щедрине два раза. В первый раз, называя его по имени, — по поводу писаревской статьи и полученной Щедриным как главой «абличителей» «нахлбучки»: «Так и следовало, и прав г. Писарев: взялся за гуж — можно сказать г. Щедрина — не говори, что не дюж, — или «не вилай хвостом», по его собственному любимому выражению. Как бы ни были забавны результаты, тот, кто вел к ним — должен им подчиниться, или... что труднее для самолюбия, свернуть с дороги».

Второе упоминание было гораздо более завуалировано, но современники легко могли его разгадать. По поводу книги «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и св. земле инока Парфения» Ап. Григорьев вспоминал один из своих приездов в Петербург:

«...на одном из литературных вечеров, проводившихся большею частью до ужина в слушании давно всем известных скандальных анекдотов покойного П — [анае]ва, а за ужином в глумлениях над среброкудным старцем Андреем [Краевским], довелось мне завести речь о книге отца Парфения с человеком, которого я, судя по его деятельности, мог считать компетентным судьей в отношении к народу и его быту, который тогда не только одни губернские сплетни рассказывал, но и подчас к народу сильное сочувствие высказывал и даже раскольников с некоторым знанием дела изображал, да и притом честно, а не ершижно, как один знаток их быта...¹⁶ Компетентный господин в ответ на мою речь выразил только опасение насчет вреда подобных книг, что она, дескать, не развела бы слишком аскетического настроения».

Дальнейшее — возражения Ап. Григорьева против этого опасения — здесь не важно¹⁷. Что имеется в виду Салтыков — конечно бесспорно. Книга Парфения была Салтыкову хорошо знакома: он написал на нее даже большую рецензию, в печати не появившуюся и может быть не вполне законченную. Рецензия (1857 г.) проникнута тем же отрицательным отношением к аскетизму, о котором рассказывает и Ап. Григорьев, хотя оценка личности Парфения в общем благожелательная. «Губернские сплетни» — несомненно «Губернские очерки», в которые входили и очерки быта раскольников («Матушка Мавра Кузьмовна», «Старец»).

Общий смысл салтыковского выражения: «человекообразные соединились со стрижами» — после всех этих сопоставлений должен быть ясен. Публицистическая работа Салтыкова в «Современнике» встретила единодушно-отрицательные оценки «Русского Слова» и «Эпохи», и смысл оценок совпадал: Салтыков воспринимался в лучшем случае как либерал, в худшем — как перекрасившийся для карьеры реакционер. Эволюция Салтыкова от дворянского либерализма (которому он служил и на вице-губернаторском посту) к демократическому радикализму не учитывалась, не бралась всерьез. Противники из «Русского Слова» прямо отбрасывали Салтыкова в противоположный лагерь («еще кто будет или нет, а вы уж давно там»); противники из «Эпохи» тоже готовы были смотреть на него как на изменившего союзника («Из обыкновенного либерала вас тотчас же перепекли в нигилиста. Но какой же вы нигилист, помилуйте?»). Зайцев обращал внимание уважаемых сотрудников «Современника» на новое направление, придаваемое этому журналу г. Щедриным; Достоевский отмечал, что Щедрин «сильно противоречил в своих последних статьях духу и направлению «Современника». Зайцев злорадствовал: «наконец-то и этот блудный сын возвращается под родительский кров»; Достоевский изображал в сатире «бунт Щедродарова» против руководителей «Современника», защиту им «Времени» и даже «Дня», а Ап. Григорьев одновременно намекал на один из возможных для Щедрина выходов — «свернуть с дороги». Вместе с тем «Русское Слово» отмечало, а «Эпоха» с торжеством подхватывала замечания о совпадениях некоторых выпадов Салтыкова против нигилистов с выпадами «Времени» против «свистунов» и «рутинного либерализма». Этим единогласным высмеиваньем заглуша-

лась более тонкая и по существу более язвительная насмешка Писарева над общественной позицией Салтыкова: «Г. Щедрин — писатель приятный во всех отношениях; он любит стоять в первом ряду прогрессистов, сегодня с «Русским Вестником», завтра с «Современником», после завтра еще с кем-нибудь, но непременно в первом ряду; для того чтобы удерживать за собою это лестное положение, он осторожно производит в своих убеждениях разные маленькие передвижения, приводящие незаметным образом к полному повороту налево кругом». Достаточно ядовиты были упоминания Писарева о «формулярном списке г. Щедрина как литератора» или данный ему Писаревым эпитет «действительный статский прогрессист».

Оценка Щедрина как писателя с той и другой стороны была несколько не более лестной. Сборник «Сатиры в прозе», которым он поворачивал после крутогорского цикла на новую дорогу, встретил и вообще очень мало откликов в печати. То, что Салтыков должен был ценить в своем творчестве больше всего — его сатирические элементы, было с обеих сторон ошельмовано как смех для смеха, как чистое искусство, как цветы невинного юмора. В этих определениях сходились и «Русское Слово», и «Эпоха»: вслед за «Русским Словом» «Эпоха» повторяла и те же примеры — те же «фики» и «трефандосы», обнаруживая при этом либо странное непонимание, либо сознательную недобросовестность: кому же не ясно, что «фиками» и «трефандосами» сам же Щедрин обличал «смех для смеха»? Влиятельнейший из современных критиков советовал Щедрину «бросить Глупов», т. е. отказаться от тех эскизов, из которых через пять лет должно было вырасти гениальное обобщение «Истории одного города». Вершиной литературной репутации Щедрина продолжали оставаться «Губернские очерки» — пройденный для него самого этап, — но и о них Писарев отзывается пренебрежительно; не менее пренебрежительно и Ап. Григорьев отозвался о «губернских сплетнях», делая исключение только для народных и раскольниковых типов.

К этому надо прибавить, что в беспринципно-приспособленческой прессе этого времени довольно ходячей темой была ревизия «обличительного направления». Уже после 1861 г. репутация «обличителя» стала опасной в свете подлинных обличений подпольной революционно-демократической печати. Мелкая пресса спешила отмежевываться от обличительства. «Сын Отечества» в редакционной статье 14 августа 1864 г. (№ 194) прямо заявляла, что обличительная литература «сделала свое дело, и довольно»; за «Сыном Отечества» эту же тему подхватывал «Голос»: «Теперь от всего обвинительного свиста осталось одно только едва слышное шипение». Вспомним что и «Эпоха» писала слово «обличитель» не иначе, как с буквы а; Достоевский подсмеивался над обличителями в «Скверном анекдоте», В. Ключников издевался над ними в «Маресе» (ч. II, главы 3 и 7). Имена при этом не назывались, но кому же не было известно, что Щедрин — глава обличительной школы?

После слов «человекообразные соединились со стрижами» Салтыков, резюмируя лютую полемику 1864 г., продолжал: «эти последние, в свою очередь, подали лапку амфибиям», а несколько ниже: «наконец, амфибии и те пискули в своем мрачном, покрытом плесенью болоте». Амфибии — это конечно те умеренно-либеральные журналы, которые, выражая идеологию буржуазных групп, пытались занять в разгоравшейся классовой борьбе независимую позицию: объективно они неизбежно отбрасывались в лагерь реакции. Сюда относятся «Отечественные Записки» Краевского и «Библиотека для чтения» Боборыкина (где сотрудничали Ткачев, Лавров, ряд беллетристов-народников и рядом с ними Эдельсон и Лесков). Можно не останавливаться долго на откликах полемики среди «амфибий», но упомянуть о некоторых фактах необходимо. И прежде всего — о большой статье Incognito, т. е. Е. Ф. Зарина, помещенной в июньской книжке «Отечественных Записок» (ценз. разр. 18 июля 1864 г.) под заглавием «Начало конца» и с подзаголовком: «Очерк с претензией, вызванный расколом в нигилизме». Зарин злорадовался: «раскол в нигилизме» был для него скандалом без достаточных оснований. «Русское Слово» в его представлении — подголосок «Современника», у обоих журналов — одни и те же авторитеты, только «Русское Слово» знакомится с ними «частью по «Современнику», частью по наслышке». Как и группой «Эпохи» (недаром и подхвачено пущенное Достоевским словечко), те и другие воспринимались

критиком враждебно: разница в том, что «Современник» казался более умеренным и потому был несколько более приемлем. Зарин с прозрачной иронией защищает Салтыкова в первой половине статьи, чтобы тем беспощаднее обрушиться на «Русское Слово» и, расправляясь с «Русским Словом», попутно, исподтишка, задеть и Щедрина. Особой осведомленности в ходе полемики Зарин не проявил: выпад Зайцева против Салтыкова в 1863 г., салтыковское изображение ужина у мецената, фельетон о Яше Злючкине — все это он оставил без внимания. Но статью «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист «Современника» он привлекает к делу, давая и важное указание для определения ее авторства:

«Он (т. е. Салтыков.— В. Г.) явно добивается не того, чтобы проучить, а того, чтобы его жертва, ошалевшая и выбившаяся из сил, заговорила: «вы еще не насладились?». И действительно, он этого добился, потому что в своей апрельской книжке «Русское Слово» сказала ему в ответ только это; и уже не устами г. Зайцева, а собирательным мы без подписи...» (слово «мы» выделено курсивом).

Переход Зарина к нападению на «Современник» начинается с того места, где он рекомендует «Русскому Слову» ответить «Современнику» на упреки в «чуши»: «наша чушь—ваша чушь». «Современник», по Зарину, повинен в тех же самых проступках, что и «Русское Слово». Если «Русское Слово» демонстративно приняло всерьез слово «нигилисты», то ведь и «Современник» демонстративно принял кличку «свистуны» (пущенную в ход Погодиным). Если «Русское Слово» «восхищается произвольной регламентацией подробностей» в романе Чернышевского, то Салтыков, упрекая их в этом, сам заслужил упреки «в склонности к юродству и ко всему прочему». Зарин раскрывает, что роман основан на идеях Фурье, и тут же издается и над Фурье (и его же опровергает «ученой сноской» из Бруно Гильдебранда), и над Салтыковым, который видит в фурьеризме «плодотворную концепцию»¹⁸. В третьем пункте — вопрос об эмансипации женщины — «Современник», по мнению Зарина, также нападал на союзника.

Статья Зарина сама по себе не представляет большого интереса. Она показательна только для позиции «амфибий» и для выяснения той общей обстановки, в какой протекала полемика¹⁹. С этой точки зрения подлежат учету и немногие упоминания: в «Библиотеке для чтения»; так например, защищая клюшниковское «Марево», Эдельсон упрекает Салтыкова в желании «выгородить себя от нападков таких людей», которых сам же он называет висюлыми («Библи. для чтен.» 1864, № 4—5): в одной редакционной статье (№ 7) «Стрижи» определялись как пасквиль, в котором «рассказаны разные гадости», и т. п. И вообще журнал Боборыкина не упускал случая попрекнуть «Современник» и «Русское Слово» взаимной «сектантской борьбой». Но особенно ухватился за «раскол в нигилистах» как за благодарную тему для очередного скандала юмористический листок Розенгейма «Заноза». История «раскола» излагалась здесь и в прозе, и в стихах, и в графической карикатуре (см. статью «Салтыков в карикатуре» в этом же томе и воспроизведение карикатуры в № 1 «Литературного Наследства»). В прозе «раскол» изображался то как грызня Полкана с Барбосом, то, в соответствии с карикатурой, как сечение Зайцева Щедриным. В стихах писалась «исповедь нигилиста», герой которой сначала «читал прогресс»

И смело шел в огонь и в воду
На свист призывный Щедрина.

Но затем «Глуловицы волны» пресекали нигилистам дальнейший путь.

И полный старческой тревоги
Щедрин прохода не нашел
И вспять по глуховской дороге
Войска усталые повел...²⁰

Доставалось конечно и Зайцеву. В № 21 появилась например такая эпиграмма под заглавием «Варфоломею»:

Среди полемики журнальной
 За вислоухих ты горой;
 Твой слог, отменно-либеральный,
 Онагра мне напомнил вой.
 На Щедрина ты вышел смело
 И с милой наглостью амей
 Ты отстоял гнилое дело,
 Ты победил, Варфоломей.

И эти малоостроумные нападки на двух противников одновременно с правых позиций сами по себе были бы неинтересны, если бы не иллюстрировали салтыковской фразы о том, что стрижи «протянули лапку амфибиям» и те «зашевелились в своем болоте». Можно думать, что в общем псевдониме амфибий Салтыков пренебрежительно объединял всю беспринципно-оппортунистическую прессу, готовую либеральничать в годы политической «весны» и быть подголоском реакционеров в годы политической реакции. На примере петербургских газет мы уже видели, как после разгрома революционного движения — внутреннего и польского — «амфибии» спешили заявить о своей благонадежности: соскочить с сухого берега обратно в болото.

* * *

Представление о том, что во вторую половину 1864 г. Салтыков «почти совершенно отошел от журнала» и что он «ничем печатно не отзывался на ту бурную полемику между «Современником» и «Эпохой» (а также и «Русским Словом»), невольным виновником которой был он сам»²¹, нуждается в поправках и оговорках. Прежде всего это молчание не было ни безусловным, ни вполне добровольным: известно, что Салтыков отвечал на «Щедродарова» целой статьей, которая была в целом отвергнута редакцией «Современника» (с поручением полемики Антоновичу); известно, что первая страница в июньской статье Антоновича взята была «из статьи, присланной Салтыковым»; известно также, что в портфеле редакции осталась позднейшая статья Салтыкова «Гг. семейству М. М. Достоевского». Эти факты учтены и Ивановым-Разумником; известен был ему и отрывок «Но если уж пошла речь об стихах». Если даже ограничиться этими данными, из них нельзя сделать вывод о сознательном уклонении Салтыкова от полемики. Затем вновь найденный «Журнальный ад», ненапечатанный очевидно также помимо желания Салтыкова, заключает в себе наряду с другим полемическим материалом нападения на «стрижей» вообще и на Достоевского лично. Намерения уклониться от полемики у Салтыкова не видно; скажу наоборот: несмотря на то, что редакция «Современника» по разным причинам ограничивает его участие в полемике, он не отступает и делает одну за другой попытки продолжать полемику. Таких попыток мы знаем четыре; возможно, что их было и больше, что часть материала утрачена или еще не найдена.

После недошедших «Литературных мелочей» хронологически наиболее ранним эпизодом дальнейшей полемики Салтыкова с «Эпохой» является публикуемый здесь «Журнальный ад». Принадлежность этой статьи Салтыкову доказывается всей совокупностью «щедринизмов» — выражений, оборотов, характерных для Салтыкова вообще и для Салтыкова 1863—1864 гг. в частности (важнейшие из них использованы в комментарии); здесь достаточно привести одну только параллель, особенно важную потому, что это параллель с ненапечатанной в свое время салтыковской статьей. В «Журнальном аде» читаем: «о чем ты стужаешься, бедный пичуга? к чему прудишь целые пруды своими помоями? не в свое ли собственное ложе прудишь ты?» А в статье «Гг. семейству М. М. Достоевского»: «ежели писатель и действительно одержим страстью «прудить» (выражение это принадлежит не мне, а «Эпохе»), то этот недостаток ему легко прощается, лишь бы он «прудил» не в собственное свое ложе».

Замысел «Журнального ада» не сводится к одной полемике с «Эпохой». Здесь затронуты и «московские публицисты» (Аксаков и Катков), и «петербургские газеты»

(«Сын Отечества» и «Голос»), мимоходом задето и «Русское Слово» («человекообразные»), — но все же значительная доля внимания уделена именно «Эпохе».

Сатирой на Достоевского статья открывается; «стрижам» посвящена и дальше одна из наиболее острых страниц статьи. Карикатурным портретом Девушкина-Достоевского Салтыков несомненно косвенно отвечал на «Щедродарова» после того, как прямой ответ его в очередном номере «Современника» не осуществился. «Попрошайство и лизоблудничество» — вовсе не характеризуют героя «Бедных людей», Макара Девушкина; Девушкин — конечно псевдоним самого Ф. М. Достоевского, и в фигуре «Девушкина, сидящего в сатанах» соединяется личная пародия на Достоевского с суммарной пародией на его литературных героев: здесь использован не только Девушкин, но и герой «Записок из подполья» (параллели см. в комментарии). Впоследствии — через 15 лет после этого эпизода, после периода затишья и относительно выровненных отношений между двумя писателями — Салтыков, вновь задетый Достоевским в «Братьях Карамазовых», ответил ему подобным же образом: отодвинул личность своего литературного противника с фигурой его же литературного героя — на этот раз с Федором Павловичем Карамазовым²².

Карикатурный портрет «Девушкина, сидящего в сатанах» — бесспорно блестящий художественный образ, один из замечательных примеров салтыковского образно-словесного мастерства. Вся глубина классово-психологического противоречия между двумя враждебными станами литературы была запечатлена в этих предельных гротесках; интересно, что, озаглавив всю статью «Журнальный ад», объединяя в этом образе всю современную ему журнальную литературу, Салтыков только с фигурой Достоевского-Девушкина соединяет собственно «адскую» символику. По сравнению с этой символикой, с образом «пыжащегося сатаненка», уста которого «вместо яда источают помой», откровенно-грубая ругань Антоновича кажется бледной и наивной; бледны после них и собственные страницы Салтыкова (в дальнейшем тексте «Журнального ада») о «стрижах» — слабая копия собственного сильного образца.

Судя по ссылкам на августовские газеты (см. прямую ссылку на статью «Дня» от 1/VIII и вероятные ссылки на статью «Сына Отечества» от 14/VIII; подробности в комментарии), статья написана в августе и предназначалась для сентябрьской книжки «Современника». Но для сентябрьской книжки была написана огромная — в три печатных листа — статья Антоновича: очередные «Литературные мелочи» («Стрижи в западнѣ»). Статья эта, хотя и в тоне полемического задора, все же отвечала на упреки и имела характер реабилитации себя, а стало быть и журнала (многие грубости Антоновича оказались заимствованными из журналов Достоевского, и это подтверждалось ссылками), поэтому, если возникал вопрос о выборе, статья Антоновича могла оказаться более нужной редакции; перегружать же номер полемическим материалом, отчасти параллельным, могло не входить в редакционные расчеты. Вряд ли входили в планы редакции и те исключительные по резкости и почти незамаскированные личные выпады против Достоевского, которыми открывался «Журнальный ад» (лизоблуд, попрошайка, пыжающийся сатаненок и т. п.). Правда, и Антонович допускал самую грубую брань (шваль, ракалия, изыхающая тварь), но все эти выражения были адресованы сотрудникам «Эпохи» вообще, а не лично Достоевскому, писателю широко популярному, на которого в кругах радикальной демократии еще не отвыкли смотреть как на недавнего политического каторжанина (вспомним хотя бы, как защищал его Зайцев от нападок того же Салтыкова). Прозвище «обер-стриж» и намеки на падучую болезнь Достоевского, которые допускал Антонович, были, правда, тоже достаточно вызывающими, но они кажутся невинной шуткой по сравнению с той ненавистью, которой пропитана первая же страница «Журнального ада».

Так или иначе — «Журнальный ад» не появился в печати, и, лишившись возможности вступить в полемику с реакционной и либеральной прессой — московской и петербургской, Салтыков вместе с тем лишился возможности отозваться (хотя бы с запозданием) на памфлет Достоевского. Полемику с «Эпохой» продолжал Антонович, и с ним же имел дело и Достоевский в своих кратких репликах.

Таких реплик было две. Первая — «Необходимое заявление» («Эпоха», июль, ценз. разр. 19 сентября; объявление — 29 сентября) — за полной подписью Федора Достоевского отвечала на июльские «Литературные мелочи», где Антонович высмеивал болезнь Достоевского; в данной связи «Необходимое заявление» важно только тем, что здесь Достоевский прямо называет статью «Господин Щедрин или раскол в нигилистах» своей статьей.

Вторая статья «Чтобы кончить» («Эпоха», сентябрь, ценз. разр. 22 ноября, вышел 29 ноября) отвечала на статью «Стрижи в западне», т. е. на сентябрьскую книжку «Современника». Здесь Достоевский обращается к «господам Современникам» вообще, т. е. к редакции «Современника», но имеет в виду прежде всего Антоновича, совершенно четко отделяя его от своего «прошлогоднего оппонента» — Щедрина (вопрос об авторе «Стрижей» не затрагивается — потому ли, что Достоевский поверил Антоновичу, выдавшему себя за автора «Стрижей», потому ли, что это не входило в его расчеты — неизвестно). Но отношение к Щедрину в этой статье вполне корректное — больше того: почти сочувственное (не без доли иронии вероятно). По поводу слухов (из статьи «Господин Щедрин или раскол в нигилистах»), что Щедрин собирается издавать с посторонним сатириком свой журнал, Достоевский поясняет, что слухи, которые Антонович определял как сплетни, «оправдывались противоречиями в направлении г. Щедрина и «Современника» и «не приносят ни малейшего бесчестия г. Щедрину», так как «убежать в Москву от «Современника» не только не бесчестно, но даже и разумно».

Этой статьей Достоевский заканчивал полемику — ближайшим образом с Антоновичем, но тем самым и с «Современником» в целом. Это нисколько не помешало Салтыкову возобновить свои обращения к «стрижам»; напротив, этот момент он счел наиболее удобным для того, чтобы ответить как следует на «Щедродарова». Сочувствие Достоевского, отбрасывавшее его в правый лагерь, могло скорее усилить, чем ослабить потребность в ответе. Он и ответил публикуемой ниже статьей, сохранившейся в рукописи, правда, не полностью, а в отрывке, начиная со слов: «Но если уж пошла речь об стихах». Обширное начало статьи не сохранилось: нумерация сохранившегося листа показывает, что ему предшествовало целых четыре; видимо, статья не была и окончена.

«МЕЛКОПЛАВАЮЩИЕ И БЛИЗОРУКИЕ»

«ВРЕМЯ» — Косица! Объяви мелкоплавающим свистунам, что они надоели публике, потом в виде названия напиши что-нибудь такое: «Эх, вы!.. Уж куда вам...!» Серьезно говорить с ними не стоит, они порягут только дело.

КОСИЦА — Да у нас никаких дел нет.

«ВРЕМЯ» — Как! — А в шкафах что? КОСИЦА — Сами изволите знать: чужие мнения; ну а заголовки точно наши.

Карикатура Н. Степанова из «Искры» 1863 г., № 7 на М. М. Достоевского и Н. Н. Страхова



Значение сохранившегося отрывка не в дальнейших вариациях мотива «стрижей»: вариации эти вносят мало нового. Отрывок важен теми литературно-биографическими признаниями, которые по нему рассыпаны: они существенно уясняют всю историю полемики. Замечательны прежде всего вкрапленные в текст и уже приведенные здесь «итоги» полемики с образами «человекообразных», «стрижей» и «амфибий»: мы уже видели, как это место помогает раскрытию анонимов в «Русском Слове». Важно и показание Салтыкова об авторах полемических статей против «Эпохи». Важно замечание Салтыкова: «Вы позаимствовались комками грязи, кинутыми в меня «Русским Словом» (имеется в виду скорее всего все та же биография Яши Злючкина); наконец важно самое намерение Салтыкова вплотную подойти к анализу «Щедродарова». Нельзя конечно понимать буквально салтыковских слов: «я до сих пор не заклеил это произведение орнитологического искусства потому, что мне было не до того». Уже было сказано, что Салтыков пытался ответить Достоевскому: трудно допустить, чтобы в недошедшей летней статье он «не заклеил» роман о Щедродарове. Молчание в ответ на пасквиль произошло не по его воле, но раз это случилось, его в полемических целях выгодно было объяснить как жест сознательного пренебрежения. Теперь он решает наконец нарушить это молчание и приступает к обстоятельному ответу; но и этого намерения ему не пришлось осуществить. Рукопись обрывается на том самом месте, где Салтыков собирается перейти к «наставлению» по поводу «Щедродарова».

Внешний вид рукописи показывает, что она именно «обрывается», т. е. что статья была на этом месте прервана (страница не дописана до конца). Чтобы объяснить это, нужно точнее датировать сохранившийся отрывок.

Содержание отрывка дает довольно точное указание на дату, после которой только и могла быть написана статья. Статья содержит ссылки на обе последние статьи Достоевского: «Необходимое заявление» и «Чтобы кончить». На «Необходимое заявление» указывают слова — «впоследствии он (т. е. Достоевский) назвал себя». На «Чтобы кончить» — слова: «Я хвалю вашу скромность: вы никогда не претендовали на то, что не принадлежите к царству пернатых, вы еще в прошлом году согласились с этим: ну да чтож делать? птицы так птицы» и т. д. Это прямая ссылка на «Чтобы кончить» («Итак, пусть мы будем стрижи» и т. п.). Таким образом статья не могла быть написана раньше выхода сентябрьской книжки «Эпохи», т. е. раньше 28 ноября 1864 г. Слова Салтыкова: «Вы еще в прошлом году согласились с этим» указывают на то, что статья писалась в декабре для январской книжки 1865 г. Но вскоре (12 декабря) в следующей октябрьской книжке «Эпохи» появилась статья Страхова, которая вновь осложнила полемику.

Если Достоевский обращался к Антоновичу, отделяя его от Щедрина, Страхов занялся именно Щедриным. Статья его (очередная из серии «Заметки летописца») называлась «Последние два года петербургской журналистики». Страхов напоминает, что автор «Нашей общественной жизни» — он же Щедрин (тождество это Страхов устанавливает по признакам писательской «манеры») — поставил однажды вопрос об «эквилибристике и балансировании» и обещал «побеседовать в следующий раз» о причинах нравственного распада²³. Страхов констатирует, что обещания этого Щедрин не сдержал, а вместо этого «у самого Щедрина началась такая эквилибристика мыслей, такие балансирования суждений, какого не было еще и примеров». Вдруг... у Щедрина «промелькнула идея»: это было в августовской книжке «Современника» 1863 г. в очерке «Как кому угодно»²⁴. Идея эта мелькнула, но так и исчезла. Затем Щедрин «царапнул» «Что делать?» — «в полном разгаре легкости в мыслях». Отсюда начинается новый период — период «междоусобной брани».

По существу Страхов варьировал все ту же тему, которая уже была затаскана в полемике с Салтыковым представителями разных направлений: Салтыков — беспринципен. Страхов только заострял ее, сравнивая Салтыкова с Хлестаковым («легкость в мыслях»). Страхов вновь перетряхнул старый вопрос об идейной позиции Салтыкова, об отношении его к роману Чернышевского, о степени серьезности его сатиры. Так как с разных сторон Салтыкова обвиняли в одном и том же — он опять решил выступить на самозащиту. Но, отвечая Страхову, нужно было вместе с тем завершить полемику

с «Эпохой» вообще, т. е. со своей стороны написать статью, «чтобы кончить». Предыдущая статья, имевшая ту же цель, тем самым отменялась; вместе с тем после оскорбительной параллели с Хлестаковым отвечать нужно было как можно более достойно и, стало быть, как можно менее многословно. Это и было сделано в статье, озаглавленной «Гг. семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха»²⁵.

Салтыков начинал с прямого указания на статью Страхова: «Вы продолжаете заниматься мною (зри «Заметки летописца», октябрь), несмотря на все «последние сказания», несмотря даже на то, что я до сих не отвечал ни одним словом на ваши детские упражнения, направленные против моей личности. Такая настойчивость вынуждает меня на ответ».

Мы знаем уже, что слова о «молчании» нуждаются в оговорках. Но действительно в фактическом ходе журнальной полемики его участие ни в чем не сказалось кроме одной — кстати, мало выразительной — страницы в «Литературных мелочах». От прежних же своих выступлений — фельетона «Тревоги времени» и сатиры «Стрижи» — Салтыков не отказывается и делает только две поправки к ним.

Первая поправка касается личного отношения к Достоевскому. К достаточно резкому отзыву о памфлете Достоевского «Отрывок из романа «Щедродаров» («чувство глубочайшего омерзения»... «показалось, будто наступил на что-то очень ехидное и гадкое») сделана сноска: «Прошу многоуважаемого Ф. М. Достоевского (так как он впоследствии сознался, что статья эта написана им) извинить резкость моих выражений; я полагаю, он сам поймет, что статья его не заслуживает и не может заслуживать иного отзыва». Другими словами Салтыков пытается отделить личность Достоевского — личность вероятно не только человеческую, но и писательскую — от полемической выходки, на которую он склонен смотреть как на случайность. Надо думать, что это соответствовало и подлинному отношению Салтыкова к Достоевскому, которое не было и не могло быть прямолинейно-отрицательным: в 40-х и 50-х годах они были во многом союзники, а отойдя в противоположный Достоевскому социально-политический лагерь, Салтыков сохранил способность спокойно оценивать объективную историческую роль Достоевского как писателя²⁶.

Вторая поправка к прежним статьям касается истории сотрудничества Салтыкова во «Времени»: Салтыков сознается в своей ошибке и подтверждает, что сотрудничал во «Времени» еще до закрытия «Современника». Вообще же Достоевскому посвящена едва одна страница статьи — около шестой ее части²⁷, основная же тема — ответ Страхову. После объяснения относительно «легкости в мыслях» (здесь противника удалось изобличить в непоследовательности) шло важнейшее место статьи — объяснение своих отношений к роману «Что делать?». По существу это был одновременно ответ и Страхову, и Зайцеву, и Зарину, и всем вообще, кто этой темы касался.

Объяснение это нельзя признать удачным. Ссылкой на собственный очерк «Как кому угодно» и глухими намеками на теорию Фурье, имеющую с этим замыслом «близжайшее родство», Салтыков хотел сказать, что социальные проблемы, в частности проблема семейная, занимают и его, но что он расходится с Чернышевским в вопросе о практических путях. Все это место, написанное нарочито туманным эзоповским языком, вообще может быть расшифровано лишь приблизительно: так например, свое расхождение с Чернышевским Салтыков формулирует так: «действуя в известном смысле, следует начинать не с намерений, а с разбора самых простых и ходячих общественных истин» (разрядка моя.— В. Г.). Под «известным смыслом» разумеются повидимому идеи радикального демократизма; под «намерениями» — социальные утопии; противоплагаются им очевидно те идеи социально-политического практицизма, на основе которого созданы и «Капулуны», и вновь публикуемые хроники «Нашей общественной жизни», и начало цикла «Современные призраки».

Всем этим Салтыков хочет показать, что, расходясь с Чернышевским в «практических путях», он является по существу союзником Чернышевского и потому не может быть враждебен его роману. Субъективно это повидимому так и было. Но этим несколько не сглаживался тот факт, что в январской «Нашей общественной жизни» Салтыков высмеял один из центральных эпизодов романа и этим высмеиваемым объ-

активно смыкался с реакционерами, которые как-раз в это время открывали «антинигилистическую» кампанию. Отвечая Страхову, Салтыков ставит дело так, как будто о враждебном отношении к роману можно было заключить только из мартовской хроники, из отзыва о «вислоухих и юродствующих»; о январской хронике он не упоминает ничего, а значит ни одного из брошенных ему упреков не опровергает.

Почему же этот последний ответ Салтыкова «Эпохе» не появился в печати? В салтыковской литературе были предложены две версии ответа на этот вопрос. Первая исходит от М. А. Антоновича и отражена в редакционной сноске при публикации статьи в «Минувших годах»: статья была забракована Некрасовым из-за резкого по отношению к Достоевскому тона. Вторая версия была высказана Ивановым-Разумником в гл. 11-й его монографии: статья была забракована самим Антоновичем, в расчеты которого не входило открывать непричастность Салтыкова к июльским и сентябрьским «Литературным мелочам». Но ни одна из этих версий не может быть признана убедительной.

О версии Антоновича не стоит и говорить: она достаточно опровергнута в книге Иванова-Разумника; скорее всего Антонович за давностью времени, запечатлел и отнес к этой статье то, что имело место по отношению к «Журнальному аду». Но вряд ли могли быть у Антоновича особые основания выдавать свои статьи за щедринские или полу-щедринские: для чего бы тогда он стал, мистифицируя «Эпоху», приписывать себе «Стрижей»? Мало вероятно также, чтобы «Эпоха», всегда хорошо осведомленная о редакционных делах «Современника», могла всерьез принимать Антоновича за Салтыкова: из страховской статьи такого смысла тоже извлечь нельзя; если Страхов пишет: «он написал еще пять статей против «Эпохи», то «он» по смыслу контекста означает «Современник», а не «Щедрин». Как ни старался Антонович запутывать вопрос своей подписью «Посторонний сатирик, автор «Стрижей», сотрудники «Эпохи» знали конечно, что «Посторонний сатирик» — псевдоним Антоновича и что «автор Стрижей» — Салтыков-Щедрин. Вспомним переданный Достоевским слух, что Щедрин «соединяется с каким-то посторонним сатириком» (разрядка моя.—В. Г.) и едет в Москву издавать там свой собственный сатирический орган; вспомним и более позднюю и уже отвечающую Антоновичу статью «Чтобы кончить», где Щедрин назван «нашим прошлогодним оппонентом» и как в этой фразе, так и в следующем изложении слухов не смешивается с Антоновичем.

В статье Салтыкова были более рискованные с редакционной точки зрения места. Защита «Что делать?» с намеками на сочувствие теории Фурье, хотя бы и эзоповским языком, была не безопасной в цензурном отношении; вместе с тем редакция (Некрасов, Антонович или кто иной) не могла не сознавать, что самозащита Салтыкова в этом пункте все равно недостаточна: рисковать судьбой журнала — ценою все равно не полной реабилитации — могло показаться нецелесообразным. Вряд ли также входило в редакционные расчеты напоминать о том, что виднейшие сотрудники «Современника» участвовали в журнале Достоевского по доброй воле, без всяких внешних побуждений. Вообще статья Салтыкова рисковала вызвать новые нападки на него с разных сторон и осложнить и без того затянувшуюся полемику. Есть все основания думать, что статья была отвергнута по общередакционным соображениям, а не по личному произволу Антоновича.

Отдельными местами не попавших в печать статей о стрижах Салтыков воспользовался впоследствии, уже в 1870 г., в рецензии на брошюру одного из сотрудников «Времени» и «Эпохи» — Николая Соловьева — «Суета сует»²⁸. Но это был запоздалый отклик: в полемике 1864 г. Салтыков не получил возможности сказать последнее слово.

Весь приведенный материал создает впечатление почти полной изолированности Салтыкова в 1864 г. Правда, на страницах «Современника» в защиту его горячо выступал Антонович. Но, во-первых, взяв на себя продолжение полемики, Антонович своими топорными приемами, безудержным многословием и обилием грубых выпадов значительно снижал качество самой полемики, начатой Салтыковым; во-вторых, эта защита приобреталась ценой отстранения самого инициатора полемики от дельнейшего в ней

участия. Робкие попытки защитить Салтыкова делал Буренин в «Искре». Так к отрывку из поэмы «Ерундиада или начало конца» («Видения редакторов»; подпись Х. Щедринов) сделана подстрочная сноска с насмешкой над врагами Щедрина («Искра», № 32 от 15 августа 1864 г.). Но собственно в защиту Салтыкова в самой повмке ничего не сказано, и упоминается он только в одной строке (из третьей части — о сотрудниках «Эпохи»); «Или на Щедрина сатиры пишут разны». Полемики с «Русским Словом» «Искра» вовсе не касалась конечно потому, что основной круг «Искры» в этой полемике не разделял позиции Салтыкова²⁹. С другой стороны, несколько странное впечатление производит карикатура Степанова в № 36 «Искры» от 22 сентября 1864 г. Изображена беседа двух лиц: у одного в руках трубка, у другого — карандаш. В подписи такой диалог:

«— Мне там обещали место.

— Как! Значит, литературу по боку?

— Говорят, мои обличения не совсем литературны.

— Верно. Возьмите лучше обещанное место.

— Требуют рекомендации.

— Укажите на свои уши».

В свете фразы зайцевского фельетона: «Они так же долго держатся в литературе, как кухарка, потерявшая место, проживает на квартире, т. е. до новой открывшейся вакансии» эта подпись приобретает характер выпада против Салтыкова. Правда, Салтыков получил назначение в Пензу только в ноябре. Но слухи о его планах могли ходить и раньше; злорадные советы вернуться к бюрократической службе могли предвосхищать и самые замыслы: нарек на это есть и в зайцевском фельетоне, который появился за четыре месяца до карикатуры Степанова.

Итак, с одной стороны — оскорбительная репутация ретрограда, врага молодежи и вместе с тем невинного юмориста, литературного Хлестакова, готового в интересах «чистого искусства», юмористики высмеять своих недавних единомышленников. С другой стороны — невозможность высказаться даже в том органе, в редакции которого сам он участвовал. Все это делало дальнейшую журнальную деятельность Салтыкова психологически-тяжелой и подсказывало ему решительный выход: отойти от литературы. Этот отход не был разрывом: Салтыков продолжал сохранять связь с «Современником», работал над повестью (вероятно над «Тихим пристанищем»), собирался писать статью о романах Лескова, Клюшников и Боборыкина; 8 апреля послал Некрасову «нечто для помещения в «Современнике» и замышлял новые «фельетоны»³⁰; возможно, что к этому же времени относится работа над пьесой «Тени». Но одновременное ироническое упоминание о цензуре «духовной консистории» (т. е. Антоновича) указывает на холодок в отношении Салтыкова к «Современнику». Впечатление изоляции, о котором было сказано, не устраняется.

Причины этой изоляции сложны, и частично повинно в ней поведение самого Салтыкова. Дело конечно не в лично-психологических его качествах; заключения о них врагов Салтыкова были поверхностны и неверны. Не стоит защищать Салтыкова от нелепых обвинений в безыдейности, хлестаковщине, литературном карьеризме или в каких-то неискоренимых «виде-губернаторских» замашках. Но неудивительно и возникновение таких обвинений в обстановке напряженнейшей классово-идеологической борьбы 60-х годов. В этой обстановке нетерпимы были позиции неустановившиеся, а позиция Салтыкова внутри радикально-демократической литературы еще не успела вполне установиться. Разорвав с либеральным дворянством, вырабатывая новую идеологию, и именно вырабатывая ее, а не получая в готовом виде из чьих-то рук, Салтыков должен был делать ошибки и делал их. Но это были ошибки исканий, а не «цветы невинного юмора», как думали его враги.

Думаю, что совокупность собранных в этой работе фактов должна приблизить нас и к объяснению идейной эволюции Салтыкова и к уточнению общей картины литературной жизни 60-х годов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Козьмин, Б. П., Раскол в нигилистах. Эпизод из русской общественной мысли 60-х годов — в сборнике его статей «От девятнадцатого февраля к первому марта». М., 1933, стр. 39—81.
- ² Иванов-Разумник, М. Е. Салтыков-Щедрин. М., 1930 (см. гл. XI).
- ³ Письмо «Неизвестному корреспонденту» было использовано Салтыковым в мартовской хронике «Нашей общественной жизни» за 1864 г.
- ⁴ Впервые это сопоставление сделано в «Нашей общественной жизни» 1863 г., № 12.—«Я доказал, что так называемые нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в первоначальном диком и нераскаянном состоянии, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты».
- ⁵ Речь идет об «опытных литераторах, которые покровительствуют скромным талантам»; из них поименно названы Д. В. Григорович, В. П. Боткин и А. Д. Галахов. Один из таких меценатов знакомит ниже рассказчика с фигурой «понижения тона». Кстати, сомнения Б. П. Козьмина о том, серьезно или иронически рекомендует Салтыков «понижение тона», — несколько странны. Это обычный и у более зрелого Салтыкова прием мнимого сочувствия в враждебным теориям.
- ⁶ Попал в грязную историю.
- ⁷ Между прочим содержание современной культуры Писарев в одном месте статьи формулирует так: «это содержание заключается в изучении природы и в изучении человека как последнего звена длинной цепи органических существ»; это и было вероятно ближайшим поводом для салтыковского прозвища «человекообразные».
- ⁸ Ниже будут указаны еще некоторые доводы в пользу авторства Благовосветлова.
- ⁹ Вместо «глуповцев» в корректуре — «для глупцов». Считаю это опечаткой: по смыслу несомненно — «для глуповцев». Ср. там же выше упоминание о «Кроличкове философе и новаторе», оцененном в 15 коп. серебром.
- ¹⁰ Из «Марева» В. Ключникова.
- ¹¹ То-есть Н. Д. Хвошинская.
- ¹² В «Современнике» очевидная опечатка: «амуры».
- ¹³ «Современник» 1864 г., № 3, статья «Наша общественная жизнь».
- ¹⁴ История этой полемики излагалась несколько раз: наиболее подробно изложение, с указанием предшествующей литературы — в цит. книге Иванова-Разумника.
- ¹⁵ См. Соч. Достоевского. ГИЗ, т. IV, стр. 120 и в книге Иванова-Разумника, стр. 347 и сл. Двойной первый номер «Эпохи» с началом «Записок из подполья» вышел после 20 марта.
- ¹⁶ Под «ерыжником» изобразителем раскольников Ап. Григорьев имеет в виду Мельникова-Печерского (рассказ «Поярков» 1857 г., «Заузолицы» (первый очерк романа «В лесах») 1859 г., «Гриша» 1861 г. и ряд статей в «Русск. Вестнике» 1863—1864 гг.).
- ¹⁷ Интересно, что попутно Григорьев называет Салтыкова «умным человеком».
- ¹⁸ На непоследовательность отношения Салтыкова к идеологии романа «Что делать?» я имел случай указывать в печати («Каторга и ссылка» 1930, № 7). Эта непоследовательность имела свои основания в эволюции Салтыкова, Зарина конечно не интересовался.
- ¹⁹ Зарину отвечал Антонович в «Литературных мелочах» июньского «Современника».
- ²⁰ «Заноза», № 14 от 5 апреля 1864 г.
- ²¹ Иванов-Разумник. Цит. соч., стр. 356.
- ²² В первоначальном тексте «Крутого года». — «От. Зап.» 1879, № 11—12.
- ²³ Имеется в виду «Наша общественная жизнь», 1863 г., № 3.
- ²⁴ Очерк «Как кому уютно», над которым подтрунивал и Достоевский в «Заметках из подполья», полностью не перепечатывался, но центральный очерк этого триптиха — «Сенечкин яд» вошел в «Благонамеренные речи».
- ²⁵ Напечатана впервые в журнале «Минувшие годы» 1908, № 1, куда была передана еще бывшим тогда в живых М. А. Антоновичем. Кроме редакционного примечания, излагавшего историю рукописи, никакого комментария в журнале не было. Текст был передан не всегда исправно: например слово «стриж» было несколько раз прочитано, как «страус». Рукопись в настоящее время находится в архиве ИРЛИ АН.
- ²⁶ См. отзыв Салтыкова о Достоевском в воспоминаниях Белоногова: «Как можно! У Достоевского был первостепенный талант, но только он уродовал его, отдал на служение и восхваление самых уродливых тенденций». См. также отзыв об «Идиоте» в рецензии = dubia на Омелевского («Неизвестные страницы» под редакцией С. Борщевского) и в воспоминаниях Л. Ф. Пантелева.
- ²⁷ Предыдущую полемику Салтыков излагает в виде трех последовательных моментов.
- ²⁸ См. «Неизвестные страницы Щедрина» под ред. С. Борщевского. стр. 419.
- ²⁹ В стихотворении того же Буренина «Погибший идеалист» упомянут ропот «ви-слухих», но направленность этих иронических кавычек двусмысленна.
- ³⁰ «Письма», стр. 43.

1. НЕИЗВЕСТНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ

Письмо ваше, которым вы приглашаете меня отказаться от немногих слов, сказанных в последней общественной хронике относительно «нигилистов», я получил. На сей раз не могу однакож исполнить ваше желание, и совсем не потому, чтоб это было больно для моего самолюбия, а просто потому, что вы сами, очевидно, не сознаете, чего именно желаете. Но объясниться я не прочь, тем более, что, кто знает, быть может, и помимо вас найдутся люди достаточно ограниченные, чтоб обвинить меня в намерении «выругать огулом молодежь», как вы выражаетесь. Такого намерения не было, и я надеюсь доказать это в очень немногих словах.

Как бы объяснить вам, к кому именно могло относиться заподозренное вами место моей хроники? Попытаюсь. Быть может, вам памятно то время, когда в русском обществе шли горячие толки о народности, и славянофилы были в большом ходу. Тогда, рядом с людьми, относившимися к этому делу совершенно серьезно и искренно (я говорю не об достоинстве самого дела, а об отношении к нему его сторонников), находились и такие, которые потому только мнили себя быть славянофилами, что понашили себе поддевок, мурмолок и рубах с подоплеками, но этих людей никто, однако, не называл «славянофилами», а называли гороховыми шутами. Другой пример: если я встречаю человека, который говорит, что он материалист, и доказывает это тем, что каждый день обжирается и напивается, а вечером ходит в танцкласс к Ефремову, то я говорю ему: нет, ты не материалист, а свинья. Третий пример: если я встречаю человека, который для того, чтоб доказать, что он не имеет предрассудков (это, кажется, единственный, сколько-нибудь разумный признак, к которому хотят приурочить себя так называемые нигилисты), выбежит голый на улицу, то говорю ему: нет, тут совсем не о предрассудках идет речь, а о том, что ты очень бойкий глупец. Всякое дело, всякая мысль, всякая партия имеют своих *enfants terribles*, своих юродствующих и вислоухих — вот этих-то «юродствующих» и «вислоухих» и имела в виду моя статья, и я не вижу в этом случае никакой ошибки, потому что по совести нахожу, что люди эти существуют единственно для того, чтоб портить дела самые лучшие: как мухи летом в одну минуту засиживают самые драгоценные произведения искусства, так и эти люди делают неузнаваемым всякое дело, до которого они прикасаются.

Но вы говорите, что я употребил слово «нигилисты» в смысле оскорбительного для целого молодого поколения, — нет, это положительная ложь. Признаюсь вам, я даже плохо понимаю это слово, и всегда думал, что оно заключает в себе совершеннейшую бессмыслицу и столь же мало может характеризовать какое бы то ни было поколение, как и блаженной памяти слово «фармазоны». По мнению моему, если оно и начинает приобретать в нашем обществе некоторое право гражданственности, то в этом виноваты именно те «вислоухие», которые, повидимому, очень жадно ухватились за него и сделали из него какое-то для себя знамя. Можете после этого представить себе, как должны быть противны для меня эти люди, которые добровольно откликаются на бессмыслицу. Но, может быть, вы возразите, что, в первоначальном своем употреблении, это слово имело смысл обширный и зlostный, но разве это доказывает что-нибудь? Если бы, например, г. Тургенев или кто другой известную часть русского общества обозвал «дураками», неужели же нашлись бы люди, которые ухватились бы за это выражение и начали бы говорить: «вот мы, «дураки», «вот у нас, «дураков» и т. д.? Я думал и думаю, что слово «нигилисты» совершенно столько же бессмысленно в настоящем случае, как и слово «дураки»; и те, которые с гордостью повествуют о себе: «мы ниги-

листы», или не понимают сами, что говорят, или сознательно говорят чепуху. И если вы дадите себе труд подумать об этом, то, конечно, согласитесь, что в моих настоящих словах нет ни малейшего намерения остроумничать или извернуться.

За тем, прощайте. Желая вам больше способности понимать то, что вы читаете и больше думать о том, что вы болтаете. Поверьте, что пошлые ругательства, которыми вы наполнили ваше письмо, отнюдь его не украсили, и что я с своей стороны тоже знаю очень много ругательных слов, но никогда к ним не прибегаю, потому что не нахожу в них не только доказательной силы, но даже смысла.

Хроникер «Современника»

2. ЖУРНАЛЬНЫЙ АД

Журнальный ад — самый незлобивый и приятный. В нем горят неугасимые огни, которые никогда никого не опалили; в нем бегут из угла в угол комолые и бесхвостые черти, которые никогда никого не уязвили; в нем раздается родительская брань, которая не задает ни родителей, ни потомков; в нем являются на сцену выпрашивающие милостыни и сожаления журнальные семейства — и никто не требует от них удостоверения в убожестве¹; в нем дают представления целые стада «человекообразных», которые во что бы то ни стало хотят притвориться людьми, и которых никто не останавливает, никто не говорит: «погодите, ваша очередь еще не пришла»². В довершение всего, роль сатаны неожиданно присвоил себе известный попрошайка, Макар Алексеевич Девушкин, тот самый Девушкин, который из гоголевской «Шинели» сумел-таки выкроить себе по малой мере, сотню дырявых фуфаяк³.

Представьте себе Девушкина, сидящего в сатанах! Вместо пламени, из глаз его лезет гной; вместо змеиной короны, на голове у него колтун; вместо яда, уста источают помой. «Матинька вы моя! Простите вы меня, что я так кровожаден. Матинька вы моя! Я ведь не кровожаден, а должен только показывать, что жажда убийства не чужда душе моей, матинька вы моя! Я бедный сатана, я жалкий сатана, я дрянной сатана, матинька вы моя! не осудите же, простите вы меня, матинька вы моя!»⁴ Так непрерывно вопиет этот прокаженный вельзевул, и, не смотря на свои немощи, не смотря на то, что весь так и пропитан попрошайством и лизоблюдничеством, все-таки лезет в драку: я, дескать, исправляю должность сатаны!

Поистине, жалкий и смешной ад. Так и хочется сказать этому слепенькому, пыжающемуся сатаненку: «о чем ты стужаешься, бедный пичуга? к чему прудишь целые пруды своими помоями? не в свое ли собственное ложе прудишь ты?»⁵ Зачем тебе бездыханное тело твоего врага? и кто твой враг, кто этот праздный человек, которому до того нечего делать, что даже гной глаз твоих, даже твое умильное попрошайство — и те его смущают и представляются предметами достойными противодействия?»

Игрушечный мастер Ваканский должен непременно воспользоваться подобным положением и устроить на продажу картонный литературный ад; с своей стороны, благонамеренные родители обязываются нарасхват раскупить эти игрушки, дабы показать детям своим, что самый ад может быть дрянным, незлобивым и безобидным.

Отчего ж он жалок? отчего смешон? Ответ на этот вопрос совсем не так мудрен, как кажется с первого взгляда. От того, просто, что над русской журналистикой висит целая туча бездельничества.

Под «бездельничеством» я отнюдь не разумею что-либо преступное или такое, за что занимающийся этим ремеслом подлежал бы лишению прав состояний; нет, «бездельничество» означает здесь лишь полное отсутствие какой-либо живой руководящей мысли, означает занятие таким делом, до которого ровно никому дела нет. Зритель смотрит на картонные турниры, в которых принимают участие картонные рыцари, вооруженные картонными мечами, — смотрит и недоумевает⁶. «О чем они? К чему они? Птицы-то, птицы-то зачем тут?» вот единственный вопрос, который он может себе задать по этому поводу, и на который ни под каким видом нигде не отыщется ответа.

Откуда нашла на русскую журналистику эта туча, я не берусь разрешить; но полагаю, что для уяснения себе этого вопроса, не нужно лезть ни в историю, ни в розыскание современного положения общественного темперамента, ни даже в анализ наличных литературных сил. Гораздо проще, по моему мнению, будет, если мы примем это явление, как факт глухой, как знамение особенного божьего гнева, над нами тяготеющего.

В самом деле, если посравнить русскую литературу и журналистику за пять и даже менее лет перед сим с теперешней, то невольно придешь в недоумение. Пять лет перед сим в ней было заметно, если не самое дело, то, по крайней мере, стремление к делу, попытки взять это дело за ухо, положить на стол и приступить к его рассмотрению⁷. Правда, что тут было много праздных, а еще более наивных слов, правда, что тут на арену выступило множество таких микроскопических деятелей, а на алтарь отечества посыпалось бесконечное число до такой степени вдовьих лепт, что в большинстве случаев невозможно было удержаться от смеха, но ведь первый блин всегда комом бывает, а при разборе отечественного мусора дело, конечно, не могло обойтись без некоторого микроскопического самохвальства⁸. По крайней мере, читатель видел, что здесь идет речь о чем-то для него не безынтересном, и затем сам уже имел возможность между множеством копошущихся пигмеев выбрать того, который приходился ему по вкусу. Сверх того, не подлежит сомнению и то, что пигмеи эти (были между ними, впрочем, некоторые и побольше ростом), будучи предоставлены самим себе, при помощи взаимного побивания, со временем все-таки очистили бы литературную арену от излишнего накопления деятельных сил, и таким образом сделали бы невозможным дальнейшее вторжение ненужных элементов. Но посмотрите, что делается теперь! прочтите нагло-исторически-пустопорожние статьи московских публицистов, прислушайтесь к хладно-умеренно-размазистым разглагольствиям петербургских газет, наконец, приблизьте к вашему носу сплетнические извержения стрижей и человекообразных! Что вынесете вы из этого сумбура! — увы! вы не вынесете даже представления, о чем тут идет речь.

И опять-таки повторяю: я вовсе не желаю входить в изыскание причин, породивших такое явление, а просто констатирую факт. И ежели кто меня спросит, почему же такое многообещающее начало привело к таким истинно жалким последствиям, тому я скажу: ищи сам, будь на столько остроумен и любознателен, чтобы догадаться, в чем тут дело. Я же с своей стороны могу присовокупить, что вдаваться в разрешение подобных вопросов значит добровольно обрекать себя на ту самую работу, за которую, по свидетельству Гоголя, брался известный Кифа Мокиевич.

Что статьи московских публицистов можно читать без ущерба для них и сверху вниз, и снизу вверх — это вещь не новая и всем известная⁹. Гораздо более достойно замечания то, что они не только не стыдятся этого, но даже высказывают публично, что подобное поведение вовсе не постыдно, что над ними ничто не тяготеет, что они душедрянтствуют и умонелепствуют по собственному своему усмотрению, состоя, так сказать,

в твердой памяти и здравом рассудке. Ужаснее положения этих людей я не знаю. Каждый день быть вынужденным выжимать все один и тот же выжатый лимон, каждый день выматывать из себя миллион аршин лент, миллион раз уже вымотанных миллионом других не менее искусных притворщиков, каждый день заштопывать и починивать все одну и ту же дыру, и при этом сохранять веселое выражение в лице, улыбаться, уверять: «это я, это я сам», грациозно покачивать головкой или, в знак искренности, вдохновенно закатывать глаза — воля ваша, это должно быть такое страшное испытание, которого не выдержат самые огнестойкие натуры¹⁰. В действительности, оно так и выходит. Как ни сверхъестественны усилия, делаемые московской публицистикой, чтобы заявить себя убежденною и убеждающею, она успевает в этом только до некоторой степени, да и то лишь относительно наружной отечанки своей бесконечной работы. Снаружи елеинная раздутость фразы, снаружи — истинно соловьиная способность незаметно переходить из «трели» в «оттолчку», из «оттолчки» в «юлу», внутри — прах, прах и прах. Впечатление, производимое этим историческим красноречием, можно сравнить только с впечатлением, которое производит зеленый, совсем назревший дождевик¹¹. Издали он кажется привлекательным, как будто даже устойчивым; кажется, что это словно какое-то оригинальное растение, но подойдите к нему ближе, дотроньтесь пальцем — и увидите, что из него вылетит целая туча черного, дрянного праха. Все эти «форрейторы», сломя голову, скачущие вперед¹², эти букеты, пускаемые по части чувств, эти воззвания к невежеству, ненависти, злобе, мести и т. п.¹³ — всё это темный прах, который ни к чему не приводит, кроме ощущения очень неопределенного и вполне безотчетного. Но разве это результат? разве результаты ясные, положительные и прочные достигаются обращением к темным и бессознательным силам, временно или постоянно господствующим в обществе? Но предположим даже, что все эти букеты как раз придутся по плечу большинству, но ведь и это еще далеко не результат. Не надо забывать, что большинство забывчиво, что оно хотя и способно приходить в восторженное состояние от хмельной фразы, но удерживает в своей памяти все-таки одно дело. А этого-то дела именно и нет, и как ни улыбаются почтенные публицисты, как ни прикидываются развязными, они не могут не сознавать, что недалеко то время, когда внутреннее их убожество раскроется само собою. Когда не будет повода для фразы, когда необходимость в тропах и фигурах исчезнет, что станет с тобою, бедная московская пресса?¹⁴ И вот что ужасно: вчера эти люди выжимали выжатый лимон, сегодня выжимают, но ведь и завтра, и послезавтра придется им делать всё ту же операцию, и так до бесконечности всё выжимать, всё выжимать. И ежели идея о вечности имеет свойство пугать человеческое воображение, то еще больше пугает она его, обставленная такими поистине истязательными обстоятельствами.

Несколько иной наружный вид имеет холодно-размазистое красноречие публицистики петербургской. Это прах сдержанный, в противоположность умильно-развязному праху публицистики московской. Петербургская журналистика выжимает все так же выжатый лимон, но не говорит при этом: это я, это я сама, а делает гримасу, как будто ей противно. Конечно, один бог, видящий сердца наши, может знать, до какой степени не притворна эта похвальба, но во всяком случае, уже то одно делает не малую честь петербургской журналистике, что она обнаруживает некоторые признаки томной стыдливости. Притворно переполняться так называемую «гражданскую скорбью», конечно, не похвально, но все же лучше, нежели непритворно снять с себя все покровы благопристойности и в голом виде расхаживать по отечеству. В первом случае, по крайней мере, не имеется соблазна, тогда как, во втором, наглый гистрион может найти тысячи по-

хотливых собак, которых хлебом не корми, да покажи обнаженное человеческое мясо. Однако, как ни сдержан вид петербургской публицистики, как ни старается она намеркнуть, что со всех сторон обижена и угнетена, всё-таки публика ничего от этого не получает и получить не может. Какое дело читателю до того, что публицист о чем-то помалчивает, что он явно выставляет себя казанским сиротою, что сквозь каждую его строчку так и сочится: «я не виноват: поймите, что я не виноват!» — читатель нетерпеливо прислушивается ко всем этим недомолвкам и обиньякам: он пропускает мимо ушей полужары, полуслова, он всё еще надеется нечто понять, к чему-нибудь прицепиться — и в результате получает прах!.¹⁵ Да, тот же прах, потому что сущность его, будет ли это прах стыдливый или самодовольно-нахальный, всё-таки такова, что из нее не выжмешь не только дела, но и намека на дело. А ежели судить строго, то в этом случае прах приобретает даже сугубый характер. Ничего нет тяжелее, неловче положения публициста стыдящегося, с скрещенными на груди лапками вымаливающего себе прощения и снисхождения: он путается во фразах, он виляет языком, он делает объезд в тысячу верст, чтоб избежать употребления неприятного для его уха слова или чтоб поместить то малое слово, которое особенно дорого его уязвленному публицистскому сердцу — и все усилия его тщетны. Публика видит насквозь его игру, видит, что игра эта затеяна собственно в видах личной защиты, что она скрывает за собой фразу: «поймите! ведь я совсем не так глуп и невежествен, как кажусь!» — и нимало не трогается его мольбами. Она просто на просто говорит: «а кто же тебя знает! может быть, ты и в самом деле невежествен и глуп!» И публика права, потому что ежели она мало получает от публицистики нагло-восторженной, то еще менее может получить от публицистики сдержанно-размазистой, ибо последняя обязывается совсем, совсем-таки молчать о деле, чтобы не выдти из своего характера. Положение ужасное. Публицист, который в душе, быть может, готов бы был горло всякому встречному перегрызть, должен сидеть смиренно и потихоньку да полегоньку выжимать себе да выжимать давно выжатый лимон. И при этом никогда не видеть конца своей работе, не иметь возможности вымолить облегчения этому каторжному занятию.

Наконец, есть еще третий оттенок литературной деятельности — это так называемая стрижиная деятельность¹⁶. Надо сказать правду, стрижи первые сделали попытку, чтобы доказать, что можно мыслить без головы, с помощью одних крыльев. Здесь найдете вы и хныканье, и злобство, и сплетни, сплетни без конца; одного не найдете — дела. Стриж забывает самого себя; сию минуту он говорил нечто, говорил изобильно, хотя и не резонно; через мгновение он всё забыл, забыл не только то, об чем говорил (этого-то собственно и упомянуть нельзя), но и то, говорил ли он, или молчал. Он безразлично подбирает все негодные объедки, выбрасываемые из прочих журналов, и не входя в разбирательство, могут ли они стоять рядом или не могут, пичкает ими свой безобразный винегрет¹⁷. Причина такого безразличного пичканья заключается в совершенном отсутствии памяти и неизвестном последствии этого отсутствия — невозможности делать сравнения, сопоставления и выводы. Стриж всему изумляется, по поводу всего раскрывает рот, ибо факты представляются ему изолированными и потому всегда новыми. Вчера он видел известное явление и изумлялся ему; сегодня он уже забыл об этом явлении и, видя его вновь, вновь изумляется. Одно только слово «почва», словно типун, засело у него на языке, и им-то старается он прикрыть свой бессмысленный винегрет¹⁸. Но, с одной стороны, слово это пошло, потому что до бесконечности растяжимо; с другой стороны, оно растяжимо, потому что до бесконечности пошло. Надо думать, что оно и придумано собственно затем, чтобы мож-

ОТКЛИК НА ПОЛЕМИКУ
ЩЕДРИНА с «ЭПОХОЙ»
(«СТРИЖИ» 1864 г.)

1-й СТРИЖ — Этой надписью забора лучше не украшать страниц нашего журнала... Не то публика увидит, что эти апофегмы с забора...
2-й СТРИЖ — Так что-ж, что с забора... Зато как ержижно-забористо — это перлы, а посему самому и суть достояние «Эпохи»...

Карикатура «Искры» 1865 г., № 1



но было во всякое время юркнуть и спрятаться под сению его. Ибо самый величайший мудрец, встретившись с ним, что же может произнести, кроме: фу! а хитрый стриж, между тем, клюет себе да плетет свои сплетки под защитою этого своего рода непроходимого болота. Собственно это даже и не литературная деятельность, а просто словесные упражнения, без подлежащего, сказуемого и связки¹⁹, но надо было упомянуть об нем для того именно, чтоб читатель видел, до какого растленного положения может доходить, при известных условиях, печатное слово, эти геркулесовы столпы. далее которых литературный прах идти не дерзает. Это литературный прах искренний, сознающий себя таковым и вполне убежденный в своей законности.

Итак, вот отношения журнального ада к делу. Нет ни одного вопроса, в оценке которого можно было бы не заподозрить или неискренности, или уклончивости, или, наконец, глупости. Можно после этого судить, каково должно быть влияние этого ада на общество.

А между тем вопросов этих стоит на очереди множество; по крайней мере, так утверждает «День»²⁰. Какие же это вопросы? добивается от них любознательный читатель.— Множество, опять отвечает «День», а за ним и другие восторженные органы печатного слова, и с огорчением в сердце ждут, пока внешняя жизнь не выблует им этих вопросов на растерзание. Тогда-то они покажут себя, тогда-то они явят себя истинными сынами отечества... И не покажут, и не явят ничего...

О! ежели бы они знали, что лучше возбуждать один самонадеянный, но определенный вопрос, нежели разглагольствовать о «множестве», разгуливающим инкогнито! если бы они знали, что выгоднее совсем умолчать о «множестве», нежели систематически раздувать этим словом и без того уже раздутое тщеславие праздных зевак! Ибо не надо ошибаться, что для многих и очень многих самое слово «множество» имеет очень большую обаятельную силу, которая вполне удовлетворяет их. «Эге! да у нас «множество» вопросов, говорят они: — стало быть, мы не спим, стало быть,

мы прогрессируем!» И успокоившись на этой мысли, идут себе на печку спать.

Да; нет более ужасного литературного яда, как тот, который высказывается в неопределенных, напыщенных и в то же время глубоко-праздных выражениях²¹. Очень немного таких читателей, которые могут отличить деланные восторги от настоящих, порожнее словесное гудение от дела. Большинство даже любит деланные восторги, как любит вообще всё то, что отрывает внимание от обычной, серенькой обстановки жизни, и дает возможность остановить взоры на иной жизни, быть может, и мишурной, но тешащей своим разнообразием. Нам известно, какие бывают последствия такого мишурного возбуждения чувств. Последствия эти: сегодняшнее опьянение, завтрашнее похмелье и на после-завтра — забвение для натур сильных, и продолжительное безобразие для натур слабых и податливых на всякого рода искушения.

Таким образом, или «ничего», или «очень скверно» — вот действие, которое имеет журнальный ад на публику. И надо сказать правду: — публика наша до сих пор показывает себя в высшей степени терпеливою и снисходительною, в особенности же относительно «ничего». Она с похвальною настойчивостию выписывает журналы, в которых когда-то нечто было говорено, она верит именам, которые когда-то нечто обещали, она вдумывается в смысл каждого слова, подбирает разбросанные там и сям крохи журнальной трапезы, «вообще ждет и в ожидании поддерживается». Могут ли подобные отношения быть прочными и надежными? Отвечать на это возможно только сомнением. Искусство для искусства, которое некогда занимало самое видное место в нашей литературе, пало безвозвратно, и заменилось искусством тенденциозным и публицистическим. С своей стороны эти последние очутились в такой странной колее, из которой они никаких тенденций обнаружить не могут. А между тем публика требует чтения, а между тем того чтения, которое было бы пригодно для взрослых людей, нет, да и нет неоцененного искусства для искусства, которое могло бы занять досуг и прогнать скуку в ожидании настоящего чтения. Последствия такого положения вещей должны быть следующие: — во-первых, читающая публика может, наконец, утратить всякое терпение и обратиться к тем затхлым мелодиям печатного русского слова, в которых она встретит, по малой мере, хоть беззастенчивость; во-вторых, та же публика (в том случае, если она будет продолжать оказывать терпение и кротость), приученная к загадкам и междустрочному чтению, рискует, в своих толкованиях, впасть в такой произвол, который в свою очередь поведет к распадению.

Итак, с одной стороны отупение, с другой междоусобие, напоминающее бурю в стакане воды, междоусобие, не захватывающее ни одной жизненной струны, пошлое, мелочное... вряд ли подобный результат может казаться желательным кому бы то ни было.

Представьте себе публику, которая окончательно убедилась, что царь Фараон в непродолжительном времени выйдет из Чермного моря и полонит вселенную; или представьте другую публику, которая без усталости толкует о том, какое значение следует придавать такому-то словечку, употребленному в таком-то журнале или газете... ведь это почти что сумасшедший дом! А это будет, будет несомненно, если в самом непродолжительном времени литературно-журнальный ад не поспешит устроиться на иных основаниях. Снова возвращаюсь к воспоминаниям о недавно прожитом нами коротком литературном периоде и снова говорю: там было много наивного, незрелого и даже негодного, но в то же время было и зерно чего-то такого, что однакожь не взошло. Отчего не взошло? — от того,

что не взошло. Желал ли бы я за всем тем воротиться к этому времени? — да, желал бы.

Не потому желал бы, что вижу там идеал, а потому просто, что вижу возможность, вижу то самое зерно, которое не взошло. Почтеннейшая публика! ужели же ты не видишь, что литературная нива наша положительно оскудевает, что она грозит в самом непродолжительном времени сделаться совсем-совсем непроизводительною! В самом деле, что произошло на этой ниве за последние три-четыре года? — Стрижи, стрижи и стрижи! О, смех и посрамление! Что будет, если журнальный ад в конце сделается смешным и забавным? Что будет, ежели и впрямь лизоблюд Девушкин сделается в нем сатаною? что будет, если мир всецело исполнится бессмысленными кликами стрижей или истерическими воплями московских публицистов? ежели эти две уморительные силы предъявят серьезную претензию утвердить вселенную? Украсится ли тогда Любозное наше отечество? Будет ли оно внушать страх врагам внешним, сниспошет ли мир в души врагов внутренних, тех врагов, о которых без устали твердит нам московская пресса? Почтеннейшая публика! размысли об этом.

Но вывод, практический вывод всей этой длинной иеремиады? спросит меня читатель. Сознаюсь откровенно, этого вывода нет и не будет. Но дабы не оставить читателя совсем без вывода, предлагаю, вместо одного, следующее заключение:

Я начал статью мою словами: «журнальный ад — смешной, незлобивый и приятный ад». Для тебя, публика, это действительно смешной ад, который может служить даже моделью для замысловатой игрушки; но для делателей этого ада, для тех, которые, по воле рока, осуждены на пребывание в нем, это ад полный тяжких и непереносных мук. В нем нет обаятельного лизания раскаленных сковород, но есть толчение воды, в нем нет железных клещей, вынимающих ребра, но есть витие из песку веревок, в нем нет огненных орлов, прилетающих клевать сердца грешников, но есть бестолковая птица стриж, которая может в одну минуту напакостить столько, сколько во всю жизнь не напакостит самому расстроенному желудком орлу... Суди же сам, благоразумный читатель, какие мучения следует предпочесть.

3. [ОТРЫВОК ИЗ ПОЛЕМИЧЕСКОЙ СТАТЬИ]

Но если уж пошла речь об стихах, так вот и еще один образчик¹.

Конечно, презирать не трудно

Отдельно каждого глупца,

Сердиться также безрассудно

И на отдельного срамца;

Но — чудно!

Всех вместе презирать их трудно!²

Пушкин, написавший эти стихи, конечно, не имел в виду сказать, что даже «срамцы», не смотря на свое срамство, могут производить нравственное огорчение на человека; он не мог сказать это уже потому одному, что «срамцы», как ни принимать их, каждого ли в отдельности, или всех в совокупности, все-таки останутся срамцами, и количественное их умножение может содействовать лишь количественному же умножению того «срама», который они из себя источают и который всецело падет на их же собственные головы.

А потому, вникая ближе в смысл пушкинских стихов, я полагаю, что великий поэт хотел сказать следующее: «срамцы» вообще народ презренный, и в то же время ничтожный, ибо действует беспокойно не на внутреннею человека, а лишь на его эпидерму; следовательно, действия их тогда только могут иметь некоторый успех, когда они производятся одновременно целым множеством отдельных «срамцов», заключивших между собой дружественный союз. Ибо тогда человек, против которого направлены их «срамные» усилия, подвергается опасности почувствовать в теле неприятный зуд.

И действительно, «срамцы» — своего рода паразиты; чтоб уничтожить каждого из них по одиночке, слишком много даже и щелчка, но представьте себе целую тучу паразитов, нападающих на вас и сзади, и спереди, и с боков — тут поневоле воскликнешь: да,

Всех вместе презирать их трудно!

В прошлом лете, я именно был жертвой такого рода дружных усилий «срамцов». Человекообразные соединились с стрижами, эти последние в свою очередь подали лапку амфибиям. Некоторый молодой гиббон (скорее, впрочем, лемур, нежели гиббон) написал, в шутовом, но пакостном тоне мою биографию; некоторый чимпанзе обратился ко мне с серьезным увещанием, что лучше было бы, если бы перестал заниматься беллетристикой, а принялся бы за естественные науки; даже сам старый горилла (портрет его зри в сочинении Гёскли: «О положении человека в ряду органических существ», где можно получить и интереснейшие сведения о всех человекообразных вообще) — и тот вспыхнул ко мне гневом и ненавистью, и вознамерился зубами сокрушить конец пера, которым я пишу. Еще более занимались мною «стрижи». Один из них (впоследствии он назвал себя, но я все-таки не хочу повторять здесь его имя, до того презрителен и недостойн названия его поступок) написал даже целый роман, в котором пошлым и клеветническим образом изобразил мои отношения к редакции «Современника». Наконец, амфибии — и те пискнули в своем мрачном, покрытом плесенью болоте³.

На сей раз я займусь одними «стрижами». Причина тому очень ясная. «Човекообразные» все-таки ратуют из-за каких-то убеждений; они вообразили себе, что я распространяю «ненависть и презрение» к естественным наукам, и не сообразили при этом даже того, что тому, что они разумеют под естественными науками, они обучались у Кузьмы Пруtkова, который, как известно, никогда не бывал естествоиспытателем, а всегда был изрядным эстетиком и моралистом (в чем и имеет от Московского общества любителей Российской Словесности за печатью диплом⁴). Они не различили того, что понятие об естественных науках само по себе, а понятие о паскудном и нелепом отношении к ним — само по себе; но, в качестве человекообразных, они имели даже право не различать, ибо им не дано того, что необходимо для подобного рода различий. Притом же человекообразные все-таки пользуются большими шансами относительно возможного развития, нежели стрижи и т. п. и следовательно, со временем и сами собой могут понять то, чего теперь не понимают. Об «амфибиях» тоже не стану говорить, не потому чтобы они были хуже «стрижей», но уж очень в ихнем болоте тоскливо... мухи мрут; ну, а в стрижевском садке всё словно повеселее: одного щебету сколько услышишь! Итак, обращаюсь к стрижам.

«Современник» вас обманул, стрижи! Статью «Стрижи, драматическое представление» писал действительно я, хроникер «Современника», а не «Посторонний Сатирик»⁵. Я не только не имею желаний скрывать от вас этого (впрочем и скрывать было бы бесполезно, потому что вы слишком

ОТКЛИК НА «ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕР-
КИ» ЩЕДРИНА

Карикатура из «Сына Отечества»
1858 г., № 8



- Вы дали за нас дало 1,000 р., отчего же не копчате его?
- А вы позволяли читать Щедрина и «Медвежий уголь»?
- Читал.
- Так я доложу вам, что за это дало не возьму теперь и 2,000 р.
- Не пейман! — объяснитесь.
- Дало просто: литераторы обратили на нас внимание правитель-
ства; наши маленькые доходы должны скоро прекратиться; по-
этому надо ковать желъзо пока горячо.

исправных имеее вестовщиков, от подслушиваний и подглядываний кото-
рых никаким манером не убережешься), но даже в особую себе заслугу
вменяю это писание, ибо в сем маленьком произведении искусным образом
заключено все ваше мирозозерцание. И потому все сказанное «Посторон-
ним Сатириком» в статье «Стрижам» о том, что отныне вам нельзя в
зеркало посмотретья, чтоб не сказать: «в этом зеркале я вижу стрижа» —
принимайте, как будто это сказал я сам⁶. Я знаю, что это правда, и что
вы, после моей пьески, сами себе стали ненавистны.

Вы обидились, стрижи! Охотно вам верю. Вы обиделись во-первых
тем, что я в кратких словах изобразил всю вашу сущность (да ведь так,
что и спора никакого не может быть), и во-вторых тем, что я никак-таки
не хочу разговаривать с вами серьезно. На первое могу вам отвечать,
что истину на ваш счет открыл не я, а она сама собой открылась, и я был
только выразителем общего голоса. Я хвалю вашу скромность: вы никогда
не претендовали на то, что не принадлежите к царству пернатых, вы еще
в прошлом году согласились с этим: «ну да, что ж делать? птицы так
птицы — шила в мешке не утаишь!» сказали вы, и поступили правильно⁷.
Но ведь птицы бывают разных пород — и вот этим-то обстоятельством
хотели вы воспользоваться, чтоб обмануть публику. Вы прикидывались
то пеночками, то горихвостками, то скворушками, то... даже орлами (а ведь
орел все-таки птица, а не человек, стрижи!). Но публика видела, что тут
что-то не то, что от вас отдает погребом, сыростью, темнотою, ночными
похождениями⁸... В эту самую минуту, когда публика была в недоумении,
я произнес слово «стрижи»... Чем же я виноват, что оно пришлось как
раз в меру? что оно определило не только цвет ваших перьев, но и духов-
ную сущность вашу?

Что касается до второй причины обиды, то и она столь же мало основа-
тельна, как и первая. Я очень хорошо понимаю, чего вам от меня хочется.

Вам хочется, чтоб я по душе с вами потолковал, чтоб я всякую вашу нелепость посмаковал, взвесил и обсудил. Вы не были бы даже в претензии, если бы я и пожурил вас порою за ваши нелепости, но только бы потолковал... ради бога, потолковал! Но это невозможно. Не потому невозможно, чтоб я был человек совсем без сердца, чтоб я не желал быть снисходительным к птичьему щебстанию (вы не раз уже обвиняли меня в жестокосердии), а просто потому, что ума не приложу как этого достигнуть. Я несколько раз принимался за вас, с целью ежели не определить, то, по крайней мере, угадать, о чем вы толкуете, но усилия мои постоянно оставались без успеха. Не думайте, чтоб это происходило от того, чтобы я не мог понимать то, что действительно понятно, а знайте, что причина такого явления заключается в совершенной сумбурности вашего щебтанья. Вот-вот, думаешь, идет дело о польском вопросе, — ан нет, речь идет об индюшках, ан нет, об антиспатах, ан нет, о Фейербахе. Повидимому, вы хотите усвоить себе славянофильские воззрения, но усваиваете только помой этого воззрения, и ни один славянофил, конечно, не взглянет на вас без сожаления. Вы суетитесь, хлопочете, топчетесь, желаете что-то учинить, но в результате оказывается лишь крошечная литературная погадка. Виноват, оказывается и еще нечто — это хорошее, кроткое ваше поведение, засвидетельствованное «Московскими Ведомостями». Понимаете ли вы теперь, почему я не могу по душе потолковать с вами? Потому, что не о чем толковать. Вы напоминаете тех ученых чижииков, которые из крохотных колодчиков вытаскивают миниатюрненькие ведерки с водой, вытаскивают и опять погружают, и опять вытаскивают... И разве я один смотрю на вас таким образом? Укажите мне хоть один орган, хоть один случай, когда бы хоть кто-нибудь сказал: вот стрижи то-то говорят, и из того, что они говорят, то-то правильно, а то-то неправильно? Нет вы не укажете мне ни на один случай: никто ничего подобного не говорил, ибо вы сами никогда ничего не сказали. Правда, что в самом начале вашего литературного поприща баловалась с вами «Современник», всё думал, не выйдет ли из вас чего-нибудь, но и тот бросил, потому что труд сделался не по силам. Правда также, что в прошлом году некто г. Петерсон нечто усмотрел в вас, но и здесь есть причина: г. Петерсон не литератор, а просто дроницательный человек⁹. Судите же сами, виноват ли я, что не могу относиться к вам иначе, как в художественной форме?

Однакоже, вы обиделись. Не говорю уже о том, что это величайшая с вашей стороны несправедливость, но не скрою, что этим вы только утвердили меня в той мысли (признаюсь, я доселе считал ее несколько самонадеянною, но теперь вижу, что был слишком скромн), что я, что захочу, то с вами и сделаю. Захочу — приведу в восторг; захочу — доведу до иступления; захочу — накажу; захочу — помиую. Мне стоит сказать: вы совсем не стрижи, а заправские литераторы — и вы возрадуетесь; но вслед за тем я могу сказать: «нет, я обманул вас, стрижи! вы совсем не литераторы, а стрижи!» — и вы закручинитесь. Вы знаете, что судьба ваша всегда в моих руках — зачем же вы бунтуете, зачем храбритесь? Когда-нибудь я одно из моих обзрений закончу словами: «Эпоха»... но об этом журнале поговорим когда-нибудь в другое время» — и вы целый год с замиранием сердца будете ожидать: что-то он скажет? каким еще неслыханным манером он покарает нас? Ведь вы изноете, похудеете, вы не в урочное время потеряете все ваши перья! Для чего же вынуждаете вы меня на такую меру?

Но нет, вы даже не сердите меня: мне просто весело. Истинно вам говорю, весело. Мне нравится и ваша злоба, и ваше шипение именно потому, что все это сдобривается самым искренним тупоумием. Знаю, что вы не виноваты, знаю, что природа, быть может, совсем неповинно нака-

зала вас — и за всем тем не могу унять веселия сердца моего. Разумеется, мичман Петухов поступал очень неосновательно, что смеялся, когда ему показывали палец, но согласитесь, что ежели этот палец показывают вам постоянно и безустанно, и притом с полным убеждением, что это не палец, а голова, — согласитесь, что тут и не рассмеяться нельзя!

Но как бы то ни было, основательно, или неосновательно, а вы обиделись. Что же вы сделали, чтоб отомстить за причиненную вам обиду? Вы позаимствовались комками грязи, кинутыми в меня «Русским Словом», вы разузнавали бог весть каким путем (а всего вероятнее, через служителей) о том, что происходит в редакции «Современника», и из всего этого устроили целую лахань помоев, которыми облили — верьте, не меня, а своих читателей.

Что написанный вами роман о Щедродарове есть сборник самых гнусных, самых презренных, а сверх того и самых глупых сплетен — в этом убедится всякий, в ком есть хотя малая доля здравого смысла. Тем не менее, я до сих пор не заклеил это произведение орнитологического искусства надлежащим именем, потому что мне было не до того. Всё прошлое лето я отдыхал на лоне природы, и между прочим занимался наблюдениями и за стрижами, не за теми стрижами, которые задыхаются от злобы в сырых и темных погребках, а за теми, которые хотя по ночам вылетают на вольный воздух, чтоб поиграть на свободе и половить мух.

Какая разница — стрижи на воле и стрижи в заточении! Какая свобода движений у первых, и какая вялость, почти дохлость у вторых! Как непринужденно веселы первые (веселы, потому что сознают себя исполнителями свой долг и не сующими своих носов в те дела, где их не спрашивают), и как уныло, могильно, затхло-злобы вторые (ибо их мучит совесть, что они не за свое дело взялись, что они улетели от родных колоколен и чердаков и таким образом изменили своему стрижиному, призванию)! С какою ловкостью кубарем слетает с ветки стриж вольный, с каким проворством подхватывает на лету муху, и как беспорядочно-вяло хлопает обшипанными крылышками стриж-склав, как лениво долбит он носиком всякий мусор и хлам, вываленный в погреб за негодностью из различных редакций! Да, только теперь я узнал, что стриж на воле — птица милая, не чуждая даже прозорливости относительно ловления мух, и имеющая лишь два недостатка: несоразмерно короткие ножки и преступную страсть к ночным шатаниям.

Итак, я до сих пор не занимался вашими летними подвигами, потому что мне было не до того. Но в настоящее время я свободен, и потому с моей стороны было бы даже бесчеловечно, еслиб я отказал вам в наставлении.

4. ФЕЛЬЕТОН [В. ЗАЙЦЕВА О ШЕДРИНЕ]

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ. — ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА «ЗАЯВЛЕНИЕ» СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. — ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОЭКТЫ. — О КРАСНОРЕЧИИ КАК О СИЛЕ ВРОЖДЕННОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ. — НЕЧТО О НЕОБХОДИМОСТИ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫМ. — ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОХОД ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. — КАК ПРИХОДИТ СТАРОСТЬ. — ОТВЕТ ХРОНИКЕРУ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК».

Положение фельетониста, в журнале ли, в газете ли — самое печальное положение. Кто из читателей не знает, что в каждом печатном органе существует несколько отделов, и кто в то же время не знает, что фельетонисту отводят угол где-нибудь подалее, в конце (посмотрите, куда, например, меня загнали): ткнут тебя куда-то, на задний двор, — ну, и сидишь.

И уж мы ли не стараемся угодить публике, мы ли не кричим во всю мочь, желая обратить на себя хоть каплю внимания — ничто не помогает: как умер незамеченным первый фельетонист, так же позорно умираем доднесь и мы! Один только М. П. Погодин еще пользуется некоторою известностью, да и то благодаря «Московским Ведомостям», где он поместил несколько фельетонов.

— Но за что же вас так гонят? спросят, пожалуй, меня. (Ах, еслиб спросили!)

То-есть, как вам сказать: за что?.. Это, видите ли, дело очень щекотливое... Но, уж если пошло на откровенность — извольте, расскажу все...

Прежде всего нужно заметить, что каждый журнал, каждая газета имеют известное направление, о котором некоторые из них заявляют сами; выяснением же духа умалчивающих о себе органов нашей прессы занимаются иногда и люди посторонние, — но не о том речь... Вот «Отечественные Записки» объявляют, например, что направление, которого они держатся, известно публике уже тридцать лет, и потому распространяться об этом предмете было бы излишне. Публика принимает к сведению слова и з в е с т н о и и з л и ш н е и, думая, что «Записки» имеют свиныйское* направление, охотно выписывают книжки журнала. «Эпоха» — та имеет направление почвенное, унаследованное от покойного «Времени»; — публика опять довольна, хорошо понимая, что от бобра родятся бобренки. «Русский Вестник» имеет направление смешанное, обуславливаемое с одной стороны книгою Гнейста, а с другой — периодическими ветрами¹. Точно так же и газеты имеют каждая какое-нибудь направление, проводят что-нибудь в публику. «Голос», например, имеет направление внутренне-внешнее, или ретроградно-либеральное, так сказать — п е р е м е т н о - с у м н о е направление. «С.-Петербургские Ведомости» провозглашают своим девизом: «прогрессивное начало на самых широких основаниях». «Московские Ведомости» проповедуют свободу мысли и совести. «День»... ну, тоже проводит... что-нибудь. Короче: все, все имеют какое-нибудь направление, все что-нибудь да выясняют перед публикой. К выяснению этого чего-то каждый журнал или каждая газета стремятся зараз всеми своими отделами, напрягают все свои силы; один только фельетонист не принимает участия в общем журнальном напряжении и, предоставленный самому себе, скромно дудит в свою дуду, что придется.

Рассмотрим же теперь причины, по которым фельетонист стоит на отшибе от прочей редакции.

Прежде всего, что такое фельетонист?

Сборщик новостей и городских слухов, веселый рассказчик различных курьезов, человек мало сведущий, мало знакомый с серьезными мотивами жизни. От него требуется только, чтобы он неуклонно заносил в свою хронику каждую новость, умел во-время и кстати побывать везде, где есть пища для его заметок, читал бы по временам газеты и выбирал из них что помельче и попустее, потому что крупные пустоты заносятся или во внутренний или в политические отделы.

Вот, например, как рассуждают об этом человеке два редактора или издателя:

— Ну что, каков у вас фельетонист? спрашивает один.

— Ничего; два листа в месяц аккуратно ставит.

— Ну, а с другими сотрудниками каков? не противоречит им?

* Свиный — издатель «Отечественных Записок» в двадцатых и тридцатых годах. [Прим. в «Русском Слове».]

— Нет, ловкая каналья; хорошо ведет свое дело. Да я, впрочем, однажды навсегда сказал ему, чтобы отнюдь не пускался в рассуждения, не занимался, так сказать, постановкой вопросов. — А ваш как?

— Да я своего прогнал.

— Как так?

— Да, помилуйте, я в критическом отделе только что заявил, через одного из своих сотрудников, об заслугах, оказанных человечеству бельгийской экономической школой, только что привел несколько цитат из Молинали, — хватъ, он обругал его! так ни за что, ни про что и обругал.

— Да, это плохо.

— Чего — плохо, просто скверно. За подписку теперь опасаясь. И ведь, кажется, уж я ли не точил ему, я ли не точил: «Эй, Сидор Семеныч, игнорируй ты эти ученые вопросы! толкуй ты больше об общественных там увеселениях что ли, только, ради бога, не суйся в науку, а то и сам влетишь и меня посадишь!» Так нет, врюхал-таки!

— От невежества все происходит.

— Невежество-то невежеством, а мне нашлапка.

Так-то думают о фельетонистах редакторы, так думает о себе и всякий фельетонист, хотя не всякий решается это высказать. Да и может ли он быть иным? может ли он провести в своей статье какую-нибудь мысль, когда эту мысль нужно прикладывать к тому заявлению, что-де нынче модная материя для брюк имеет рисунок в клетку, взамен прошлогодней — полосатой? Наконец, какая тут мысль, когда в голове вертятся игрища у Ефремова? — Нет, фельетонист просто жалок! Оставленный на произвол судьбы, не принимающий, так сказать, никакого участия в нравственных интересах журнала, он мало заботится о своем совершенство-



КАРИКАТУРА «ИСКРЫ» НА ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» И ЕГО СОТРУДНИКА СТРАХОВА

«Искра» 1862 г., № 49

вании, мало принимает в расчет серьезную сторону жизни, и целый свой век вращается в сфере всевозможных пикников, маскарадов, театров, балетов, выставок и проч.

Из каких же людей составляется сословие фельетонистов? поставим такой вопрос.

О, сюда входят люди всевозможных каст! Тут есть и чиновники, оставленные за штатом, и офицеры, выпущенные в отставку за ранами, и разnochинцы, и ученые, отставленные от науки за неспособностью и старостью, и писатели, заведывавшие прежде серьезными отделами в журналах или газетах,— словом, все классы общества приносят свою лепту в сосуд фельетонизма². При этом нужно заметить, что каждому из таких господ непременно вменяется в обязанность игнорировать всякое знание и сообщать одни только житейские новости. Так, например, кто не помнит фельетонов М. П. Погодина, помещенных в «Московских Ведомостях», где сему маститому ученому приходилось трактовать о столбах русской науки, Дале и Вельтмане, тогда как М. П. наверное желал бы взять период несколько древнее, именно варяго-русский.

Итак, сообразив все сказанное, чего же может требовать публика от фельетониста, кроме легких, игривых заметок, и что в свою очередь может дать он ей, кроме таковых? Пробовали, правда, и фельетонисты иногда о чем-то толковать, что-то выяснять (разумеется когда дремала редакция), но так как к серьезным вещам они относились обычно фельетонным образом, то в конце концов выходило совершенное фиаско: несчастного враля ловили и казнили без пощады. Еще недавно один из моих собратов по оружию, вздумав потолковать о какой-то «чаше» и о «рассечении трупов с песнями и плясками», проврался самым жестоким образом. («Врешь ты, вислоухий! скажет провравшийся собрат: — я вовсе не проврался, юродствующий ты этакой! — мы с ним приятели, потому в выражениях не стесняемся,— а это просто произошло от того, что при срочной журнальной работе трудно и требовать, чтобы писатель был всегда одинаково ясен и изобразителен.»)³. Ну, да ладно — вывертывайся!

«Поди, морочь других!»

Теперь, кажется, понятно читателю, какого я мнения о своем деле и что могу дать ему в своих заметках. Скромность моя не позволит мне трактовать о том, чего я не понимаю, и я ни за что не последую за теми из своих собратов, которые смело взбираются на трибуну, чтобы высказать оттуда несколько пошлостей, а потом, поджавши хвост, изворачиваться: *для чего-де не остановили меня? я сам вижу, что завираться стал!* Впрочем, такие непрошенные ораторы попадают очень редко. Это по большей части люди «прикомандированные» к литературе, люди озлобленные какими-нибудь пустяками, из-за которых бросили они служение Фемиде и ратуют против. Они так же долго держатся в литературе, как кухарка, потерявшая место, проживает на квартире, — т. е. до первой открывшейся вакансии. Правда, кухарка эта иногда и в два-три дня наделает таких пакостей, что после в год не забудешь; но отращно уже и то, что скоро скачали ее с шеи, что скоро получила она место в хорошем доме и не появляется больше с своими сплетнями в скромную квартиру честных людей.

Так как такие фельетонисты все-таки попадают в литературу по временам, то я считаю не лишним уловить здесь общие черты, характеризующие подобных господ, и вывести благородную маску перед публикой в ее настоящем, домашнем костюме.

К таким-то фельетонистам я адресуюсь с следующим романсом⁴:

Ты пойми, пойми, мой милый друг!

(Романс в действии.)

Героя своего я назову Яшей Злючкиным, и проследим-ка мы, читатель, его жизнь и деятельность на столько, на сколько она мне известна.

Яша родился от честных и благородных родителей, Егора Злючкина и Марьи Злючкиной, урожденной Вралищевой. Ребенок он был здоровый, бойкий, веселый, так что приводил в восторг даже кормилицу своими проделками. «Эва, какой генерал выйдет!», толковала она в то время, как Яша, ухвативши ее обеими рученками за виски, нагибал то в ту, то в другую сторону. «Ох, и лютый только начальник из него будет: всю губернию полонит, коли губернатором сделают!» Яша действительно вырастал с самыми начальническими талантами: в два года он драл за виски не только кормилицу, но и няньку, в три-четыре дошел до казачка, а в пять-шесть простирал свои десную и шуйцу даже к седым локонам mademoiselle Schoukine, приставленной к Яше в качестве гувернантки. Словом, мальчик складывался, как следует быть. Девяти лет Яша хорошо читал по-французски и плохо по-русски, с удовольствием выслушивал от m-lle Schoukine различные интересные истории, вроде похождений кавалера Фоблаза, сыпал в дворню треухами, гордился своими каштановыми локонами, с наслаждением вертелся перед зеркалом, осматривая свою шикарную курточку, и т. д. и т. д.

— А Яшу-то пора тово... рассуждал в это время родитель.

— Что? спрашивала мать.

— Отдать куда-нибудь — учиться.

— Да куда же ты его отдашь?

— То-то вот не знаю.

— Нынче и заведений-то таких нет, куда бы мы могли поместить нашего Жака. Ты знаешь, как он у нас поведен, — ну да как там его развратят: свяжется с этими разными простыми детьми, куда и воспитание все пойдет.

— Надо отдать куда все дворяне отдают — где почище.

— А где почище-то? Везде нынче этого мужичья натыкано.

Думала, думала почтенная чета, наконец решила отдать свое детище в самое чистое заведение, в котором головы воспитанников так же ярко блестели, настигаемые разными науками, как и паркетные полы его, натертые мастикой.

— Говорите ли вы там по-французски? с грустью спрашивала мать, когда Яша по праздникам приходил домой.

— Постоянно, тамап.

— То-то, не разучиться бы тебе. Жалко, что лекции-то у вас читаются по-русски. Уж какая тут наука, когда учить ее тебе приходится на этом варварском языке.

— У нас лекции всё с французскими фразами, тамап.

— Вот разве что... А кто у тебя, мой друг, там знакомые?

— У нас, тамап, знакомых не бывает, у нас всё товарищи; и уж что товарищи решили между собою, так тому и быть. Вот недавно мы определили, чтобы в опере дальше пятого ряда кресел не бывать, — и уж кончено, никто не пойдет. Вот как у нас, тамап, товарищество развито.

— Кто они такие, твои товарищи?

— Разные, тамап. Есть князья, графы, потомственные дворяне...

— Купцов нет ли, мой друг?

— Мамап! патетически произнес Яша: — этим вопросом в лице моем вы оскорбили целое заведение. Извините, я не могу продолжать наш разговор.

— Жак! прости меня! восклицает родительница: — ведь это сказано без всякого умысла. Я чувствую, что я сказала глупость, — прости меня!

— Хорошо, татап. но только с условием, чтобы вперед вы не задавали мне подобных вопросов, унижительных для чести русского дворянина.

Примирение, разумеется, тотчас же устраивается, и торжествующий Яша с увлечением рассказывает матери о товарищах, профессорах, лекциях и проч.; цитует даже целые места из лекций. Или пустится в рассказы из истории, как княжил такой-то князь, и кому какие титулы и чины дал, и как княжил другой, и кому чинов и титулов не пожаловал. Мать только руками всплескивает, глядя на свое милое, умное детище.

— Да поди, поди, Жак, ко мне, ради Христа, обними ты мать свою!

Жак повинется, но в то же время предупреждает:

— Пожалуйста, татап, не крепко шею сжимайте, а то воротнички попортите.

Учился, учился таким-то манером наш герой, наконец прошел всю премудрость: Яше исполнилось восемнадцать лет, а вместе с тем он окончил курс с чином десятого, а может быть и девятого класса. Широкой лентой открывалась теперь перед ним дорога к разным чинам и почестям.

— Жак, ты какую карьеру избираешь? спрашивали его товарищи.

— Думаю в какое-нибудь министерство на первый раз.

— А потом?

— Нужно присматриваться.

Поступил наш Жак в министерство, присматривается год, присматривается другой, присматривается третий — проку мало. Думал, что в три года, по крайней мере, начальника отделения хватит, ан нет: дальше столоначальника не пускают. И так прикинул наш герой, и этак, — всё столоначальник да столоначальник. «Господи! когда же это наконец?» в отчаянии вопиет Жак, мысленно ворочая перед глазами мундир с золотым шитьем на воротнике. «Уж я ли не служу, я ли не заискиваю? Когда же наконец обратят на меня внимание?»

— Да ты слиберальничай, шепчет Яше какой-то дух.

— Как это слиберальничать? недоумевает Яша.

— Очень просто.

— Научи, добрый дух.

— Ну, проект что ли какой представь, резко выскажи свое мнение о чем-нибудь, — словом, поступи так, как поступил, например, Жабров: видишь, ему какое место дали за либерализм.

— А как турнут! робеет Яша, а у самого поджилки трясутся от счастливой мысли выскочить в начальники отделения.

— Что же, что турнут? тебе ведь все равно, ты служишь из почестей; стало быть, настоящим твоим местом дорожить нечего.

— Хорошо, я слиберальничаю; только как?

— Ты знаешь французский язык?

— Знаю.

— Ну, вот возьми эту книгу, да и слиберальничай по ней.

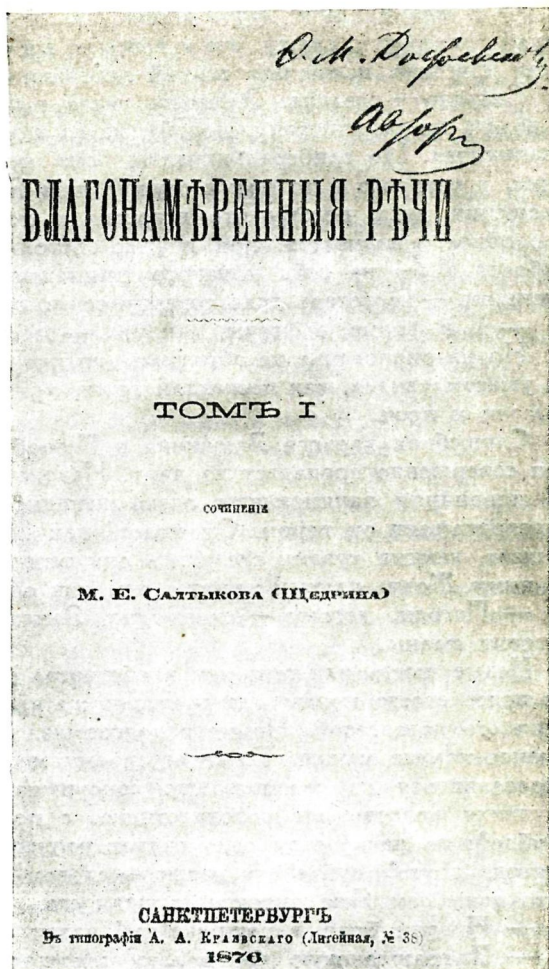
— А какое место из нее взять?

— Вот это.

Дух взял книгу и на одной из страниц отметил «от сих» и «до сих», и за тем скрылся.

Долго сидел Яша над отмеченными духом строчками, долго размышлял, последовать ли ему совету нового друга, или отложить в сторону мысль о быстром повышении и продолжать службу по-прежнему. А тут еще проклятое воображение рисует заманчивые картины. То шляпа с плюмажем пронесется мимо, то ключ золотой проплывет; должности с соответ-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЭКЗЕМПЛЯРА
«БЛАГОНАМЕРЕННЫХ РЕЧЕЙ» О
ДАРССТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ЩЕД-
РИНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ
Институт Русской Литературы,
Ленинград



ственными мундирами кружат в воздухе; карета с гербами и красным лакеем уперлась дышлом чуть не в самый нос.

— Слиберальничаю! задыхается Яша, и закрывает глаза.

Но картина переменяется. Видит он оборванного, жалкого чиновника в виц-мундире. Бедность и горе рано состарили его, рано убелили волосы и изморщили лицо.

— Подайте бедняку на хлеб, разбитым голосом дребезжит чиновник.

Яша пристальнее всматривается в его лицо и — о, ужас! — узнает себя.

— Ни за что! ни за что! вскрикивает он. — Нет буду служить, как служил.

И опять рекой потекли перед ним чины, шляпы, ключи, кареты с гербами...

Так промучился Злючкин несколько дней, виляя то в ту, то в другую сторону; наконец жажда славы и почестей взяла верх над всеми ужасами.

— Итак, решено, торжественно провозгласил он в одно прекрасное утро: — нынче же слиберальничаю. Не знаю только, как это сделать, т. е. при какой обстановке: в форменном ли виц-мундире, или просто во фраке?

Опять задумался. А ключ уж вырос перед глазами и манит.

— В виц-мундире надо, рассуждал Яша: — потому что в случае чего, если придерутся, скажу, что я вовсе не либеральничал: я в форме, а форма, как известно, исключает всякий либерализм.

Сказано — сделано. Злючкин чисто выбрился, раздолбил на затылке волоса по английскому способу, надел форменный виц-мундир — и слиберальничал. Но слиберальничал-то он, несчастный, не во-время. Начальник, у которого в то время служил наш Яша, был тогда в дурном расположении духа, потому что встретил в ком-то неповиновение или что-то подобное; разумеется, при других обстоятельствах выходка Яши или не обратила бы на себя никакого внимания, или увенчалась бы полным успехом, — но теперь дело повернулось в другую сторону: беднягу изгнали.

— Я в форме, а форма, как из... — забормотал было Злючкин.

Но на оправданье не обратили никакого внимания. и злостный Яша с ужасом увидел, как поскакали прочь от него всевозможные чины, ордена, ключи и проч.

Служебная карьера Злючкина в Петербурге кончилась. На год, на два он совершенно пропадает из виду. Наконец, на третий мы встречаем его в провинции занимающим очень невидное место. С затаенной злобой поскрипывает он пером. Он знает, как отстал от своих товарищей по школе, какими тузами сделались они теперь и как трудно ему сравняться с ними. Жолчь ключем кипит в нем при одной мысли, сколько он потерял.

— погоди, догоню, — скрежещет Злючкин, и всё строит планы, всё строит планы.

Целые шесть или семь лет злобствовал Яша, ни на минуту не оставляя в покое своего мозга: «да измысли же ты что-нибудь!» неустанно погонял его наш герой. Но мозг подсовывал несчастному самые мизерные, самые мелкие мысли. То советует ему мозг итти в станковые пристава и прославиться на сем поприще сокрушением мужицких физиономий; то купчиху подсовывает сорокалетнюю, с приданным в три-четыре тысячи рублей; то начальству рекомендует пониже поклониться, чтобы накинули пяток, другой рублей в месяц, — словом, мозг оказался таким дурнем, что даже сам Яша дивится, слушая его.

— Ну уж, брат, и глуп же ты! язвит его Злючкин.

— В гражданскую бы палату секретарем поступить, — вот и ладно, нашептывает мозг.

— Поди ты к чорту!

— Или в консисторию, а то так в полицию: доходов сколько.

— Говорю тебе, я прямо в пятый класс хочу.

— Да где же его взять?

— Не можешь сообразить — ну и молчи!

Яша даже плюнул от злости. Перед глазами проехала карета с гербами, подсунутая досужим воображением. В карете сидел генерал, очень похожий на Злючкина; кучер во все горло кричал «пади»: народ сторонился и низко кланялся.

— Вот я чего хочу, ткнул Яша.

— Ну, да мало ли чего хочешь, огрызся мозг.

Такие разговоры с мозгом, впрочем, имели для Злючкина ту выгоду, что в конце концов, постоянно осаждаемый требованием пятого класса, мозг наконец совершенно покорился своему властелину и принялся плести вместе с ним громадную сеть всевозможных планов, проектов и соображений. Тысячами залегали в голову Яши всевозможные мысли, с помощью которых, прямо или косвенно, добывался желанный пятый класс. Нужен был только счастливый случай, чтобы пустить в ход накопленный годами и неусыпными заботами материал — и дело в шляпе. Случай такой скоро представился.

Наступил знаменательный 1856 год. Что-то новое пронеслось в воздухе. «Прогресс», «гласность»! летели где-то невидимые хоры. Встрепенулось дворянство, всполошилось чиновничество, ухватились за карманы купцы, сробели и дрожьмя задрожали мещане и крестьяне. Кто всю жизнь свою ходил в грязи, и те принялись умываться: «как бы, дескать, не застали неприготовленными».

— Вот он пятый класс! взвизгнул Яша, и принялся в смысле прогресса и гласности рубить направо и налево — благо разрешение вышло.

Сумятица поднялась страшная! Миллионы народа повалили к ключу «прогресса» и «гласности»; кто отставал, или вовсе не хотел омываться, тех подгоняли и обличали; в числе обличителей Яша стоял на первом месте. Смело метал он громы в ряды обскурантов, не стыдясь называть пакостью все, что позволили называть таким именем, и наконец — о, счастье! — его заметили...

— Га! какво! загреготал Злючкин, обращаясь к мозгу.

Мозг похвалил, потому — нельзя, пятый класс в руках.

Яше дали порядочное место.

Всякий знает, какая лихорадочная деятельность кипела в то время, потому распространяться об этом предмете было бы излишне. Будем лучше следить за нашим героем.

Прежде всего Яша, разумеется, сказал речь своим новым подчиненным, ибо кто же тогда обходился без речей? Акционеры ли соберутся в общее собрание требовать от правления выдачи дивиденда — речь: «в настоящее время, когда мы и то, и другое (говорит правление), нечестно было бы со стороны гг. акционеров заявлять такое требование, ибо...» — словом, с чем пришли акционеры, с тем и уходят; на пирог ли кто зовет — речь; на улице ли встретятся приятели — речь... Словом, проходу не было от речей: чуть смигнул где-нибудь, — глядишь уж вырос перед тобой молодец и речь говорит.

Яша, конечно, сказал речь далеко не в таком роде, какие говорились тогда всеми. Речь его, напротив, была энергична и убийственна для распущенных чиновников. В ней слышался голос человека, имеющего в своих руках власть казнить и миловать. Он чуть ли не пугнул своих подчиненных каторгой за нарушение закона; а что обещался быть беспощадным — за это ручаюсь.

Подчиненные повесили носы.

— Что это, скажи ты мне, за прогресс такой, и откуда нам этого зверя прислали? допрашивал один подчиненный другого, сидя за графином.

— Не пойму, вот хоть убей не пойму! склонив голову, лепетал собеседник.

— Где же тут справедливость? Думали: вот-вот награды пришлют, — ан, глядь, прогресс прислали, да еще этого чорта!

— Всех, должно, под телесное наказание подведут.

— Все крохи, какие долголетнюю службою собрал, и тех лишишься. — Эх, выпьем!

— Выпьем.

И злополучные чиновники вырезали по здоровеннейшему стакану.

Действительно, проезд нового лица произвел в городе самые разнообразные толки. Одних занимал вопрос: кто к кому прежде сделает визит? т. е. приезжая ли власть предупредит власти обседевшиеся, или власти обседевшиеся предупредят приезжую? Других — другой: будет ли приезжая власть давать балы и поедет ли сама к обседевшим, если попросят? Третьи задумывались над тем, берет ли приезжая власть и если берет, то чем: натурой или деньгами? Некоторых просто никакие вопросы не занимали, и они сидели друг против друга, вылупя глаза, как будто

желая сказать: «власть она или не власть, а водки выпьем». Портных занимал вопрос: кому платье будет заказывать? сапожников: кому сапоги? прачек: кому белье будет отдавать в стирку? и проч. А жену сторожа в том присутственном месте, куда власть приехала в начальники, так ту, кажется; занимали все вопросы вместе, почему она ухватила из печи горшок со щами, да и выплеснула их за дверь, на филейные части собаки, которая хотя и взвизгнула, но тем не менее мясо-таки утащила.

После речи, сказанной властью и разнесенной подчиненными по городу, на всех напал какой-то панический страх. Один советник до того струсил, что приказал запереть ставни в доме, лег на кровать, накрылся двумя одеялами, шубой и женинным салоном (дело было летом), а прислуге строго-на-строго наказал: «каждому, кто меня спросит, отвечать, что барин, мол, три года тому назад уехали в Саламанку, на теплые грязи». Другой отличился еще лучше: обложил себя всевозможным оружием и три дня, три ночи просидел на одном месте с заряженными пистолетами в руках. Жена ассессора, после рассказов мужа об речи, ударилась бежать из дому, неизвестно куда, и была отыскана только на другой день, в близлежащем лесу. Будочник, увидя проезжавшую мимо власть, до того растерялся, что, вместо того, чтобы отдать честь, ухватившись обеими руками за голову, принялся кричать «караул!» и т. д. и т. д.

Между тем страх скоро прошел. Власть поехала с визитами. Правда, и тут горожане-таки побаивались гостя: так, одна барыня, прежде чем выйти к нему, долго стояла в смежной комнате, нашептывая: «помяни царя Давида и всю кротость его», а потом, вышедши, тут же и выкинула, — но зато другие вели себя во время свидания довольно смело. Губернский прокурор даже позволил себе некоторую вольность, вставив во время разговора два раза междометие хе-хе-хе, при чем, впрочем, на лице его никак не складывалась улыбка.

Разговоры шли, разумеется, большею частью о службе, долге и проч. Гость выказал при этом замечательную эрудицию и ум, ловко вставляя то Филиппа Красивого, то Черного Принца, то вольнодумца Вольтера.

— Вы в литературе тоже служите? спрашивала гостя жена товарища председателя гражданской палаты.

— Да, пописываю.

— И нас опишете?

— Помилуйте.

Гость улыбнулся.

— У нас был тут один писатель, так того даже страшно в дом принять было — везде смуты поднимал: это, говорит, я для романа почву готовлю.

Гость опять улыбнулся.

— Нет-с, я романов не пишу: в них не видно этого... служения общему делу. Наше призвание иное: мы просветители массы, и просветители путем более реальным, более близким к цели. Мы бичуем порок и прокладываем дорожку добродетели.

— Капulyка! рассказывала потом жена товарищу председателя. — Ах, еслиб ты знал, какой он умный, как хорошо он мне рассказывал о пороке, как долго: вот столько, и товарищиша председателя отмеряла руками в воздухе аршина полтора.

— Что, что такое? нахмурился муж. — Это значит вроде Саврасова опять... почву для романа готовит.

Прошел день, другой, неделя прошла. К власти стали притягиваться и увидели, что она ничего — смиренная, больше на словах горячится.

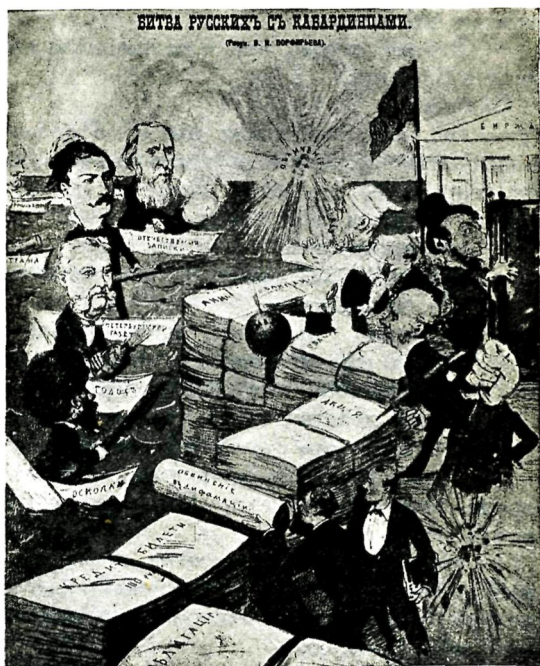
— Ну что, жена, как? весело проговорил недели этак через две чиновник Прожженков, возвратившись из присутствия к обеду.

— А что?

- Ничего, проживем.
- Награда, что ли?
- Да говори ты, чорт, толком! Что это, слова путного не скажет!
- А ты не сердись. — Угомонился, слышь ты! нынче просителей допустил.
- Вы кого не угомоните, — с удовольствием изрекла жена.
- Верхним ходом значит барин-то идет; с этаким еще можно жить. — А ты бы мне водочки на радостях дала.
- Об чем не говорит, дурак, вечно на водку сведет, — уязвила жена, а водки все-таки дала.
- Не неделя, не две и не месяц, прошел целый год. К Злючкину так присмотрелись, что и внимания на него особенного не обращают. Чиновники живут себе, да поживают, да денежки наживают.
- Под этаким еще лучше. Правду аль нет говорю, Силантий Егорыч?
- Известно.
- Другой, который до всего дотошник, тот сразу словит.
- Как же можно.
- Бывают эта из нашего брата происходят, так те, чтобы ни-ни — всё ко мне носи: не твоего ума это дело. говорит, чтобы с просителем разговор вести. А у этого кто добежал, тот и словил! Ему только бы ты на счет одежи был первый сорт, да умел концы прятать. Эх, выпьем что ли за его здоровье! Кабы подольше поначальствовал, то-то бы зашибли деньги.
- Злючкин и сам видит, что он охладел, что пятый класс его больше не веселит, что нужно лезть выше, нужно искать славы и почестей в размерах несколько позначительнее. Опять принялся он ворошить мозги.
- Что тебе? спрашивают те.
- Как бы в четвертый перебраться?
- Ишь, чего захотел.
- Нет, в самом деле, как бы? подумайте.

КАРИКАТУРА НА ЩЕДРИНА —
РЕДАКТОРА «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ЗАПИСОК»

Рисунок В. И. Порфирьева в «Оскол-
ках» 1882 г., № 41



— У нас фосфору мало, — отвечают мозги.

— Молешотта проклятого начитались, сейчас вижу, — кольнул Яша.

— Молешотт — это обо мне, — заурчало брюхо.

— Ну, все поднялись!

— Да ты дай мне высказать свои убеждения, — взывает брюхо.

— Ну!

— Купил бы ты деревеньку.

— Ну!

— Завел бы хозяйство хорошее, индюшек бы грецкими орехами откармливал, цыплят выводил...

— Ну!

— Дай же дух перевести... Теплицы бы выстроил, оранжерей, кормил бы меня хорошенько.

— Поди ты к чорту, глупое! выругался Злючкин, ворочаясь с боку на бок, чтобы произвести колебание в желудке, и таким образом расстроить его речь.

Закрыв наш герой глаза и мечтает. Откуда-то показывается шляпа с плюмажем и кивает.

— Не то! мало...

К шляпе, около кокарды виснет ключ.

— Мало...

Голубые и красные ленты вьются в воздухе.

— Ну, вот если все вместе, так еще, пожалуй... можно.

— Не много ли захотел? — шепчет какой-то голос.

— Я, брат, посмотри еще чего добыю, — уверенно бормочет Злючкин: — титул какой-нибудь ухвачу.

И стал Яша с этого времени хлопотать о том, чтобы в четвертый класс перелезть. Делал авансы и там, и сям, и в том, и в другом месте виляя хвостом, ставил на вид свои заслуги, словом с целью нежную

Слиялся всей своей душой мятежно, —

нет, не выгорает.

— Это всё оттого, что я не так дело повел, что скоро я, дурень, успокоился на лаврах.

Задумался.

— Ба! вот счастливая мысль! Попрошусь в перевод на то же место, поведу там дело, как и здесь сначала, но зато уж не успокоюсь — нет, не успокоюсь, шалишь! Здесь-то неловко переменяться теперь — не на дуэль, а там я себя покажу.

— Не прошибись! возопили разом и мозг и брюхо.

— Молчите вы, дураки! лучше вас понимаю, что делаю.

— Ну, как знаешь.

— Отлично, отлично! подпрыгивал Яша. — Так и сделаю, так и сделаю! Да еще что выкину, чтобы зарекомендовать себя: всех здешних отхлещу. Конечно! сажусь и пишу.

Злючкин действительно сел к письменному столу, и тотчас же из-под пера его вылилось заглавие статьи.

— «Скопствующие каплуны»... нет это не ловко; это что-то выходит вроде засаленного сала. Разве обернуть? «Каплуниствующие скопцы»... опять не ладно.

— Не утруждай ты мозгов своих, не злобься, — шепчет какой-то тайный голос: — а пиши ты спокойно. Ведь ты сам знаешь, что у тебя только то и выходит недурно, что является непосредственно, без потираний лба ладонью.

— Я хочу поядовитее написать.

— Да уж пробовал ты эту ядовитость, да выходило всегда так, что или статью не примут, или редакция возвратит для поправки, написав на полях такую же другую, как твоя.

Через месяц Злючкин уже мчался на почтовых в другой город, а в журналах появились его статьи о только что покинутой юдоли.

— Отлично, отлично, — нашептывал дорогою Яша.

Между тем, приезд моего героя здесь уже не произвел такого подавляющего впечатления, как в первом городе. Куры не мчались с улицы на двор, как там; будочники не кричали «караул» вместо «здравия желаю»; лошади не шарахались в сторону, и проч. Короче: жители уже знали, что за птица к ним едет, потому что заранее снеслись с кем было нужно и получили самые точные сведения.

Злючкин просто позеленел от злости, когда, прождавши несколько дней, увидел, что никто не является к нему поздравить с приездом.

— Неужели промах? — спросил он себя, и начал делать визиты.

Везде принимают его как самого обыкновенного человека: барыни не выкидывают в его присутствии, дети не вопят, местные власти мужеского пола не теряют употребления языка, — словом, Яшу в каждом доме просто кипящей смолой обдают.

Наступил день знакомства с подчиненными; эти тоже смотрят как-то весело, даже саркастически, так что речь с каторгой и на ум не пришла при виде плутоватых физиономий.

— Провалился, провалился! лепетал Злючкин, воротившись домой.

И заскрежетал, заскрежетал зубами бедный Яша.

— Мозги! озлобленно крикнул он.

— Что тебе? болезненно отозвались мозги.

(Я слышал раз, как один медик, пришедши в анатомический кабинет для получения различных препаратов, спросил между прочим: нет ли сушонов мозгов? за что и был осмеян. Теперь я был готов пари держать, что сушонове мозги существуют и что они находятся в настоящую минуту в голове Яши: — так мало было жизни в их словах, служивших ответом на зов.)

— Помогите!

Мозги молчали.

— Мозги!

— Что тебе?

— Да что у вас языка что ли нет: не можете путно ответить?

Опять молчание.

— Деревеньку бы купил, — вмешивается брюхо.

— Да молчи ты, проклятое!

— Индюшек бы гредкими орехами откармливал, цыплят выводил...

— Ах, дери тебя черти! и Яша, как безумный, заметался, стараясь подавить и расстроить желудочный бред.

Долго бы промучился мой герой, не зная, как поправить дело, если бы ему не явился на помощь известный уже читателю гений, подстрекнувший когда-то Яшу слиберальничать.

— Эк, брат, ничего-то ты сам не придумашь, всё-то другие должны помогать, — изрек гений-покровитель.

— Спаси, голубчик, погибаю!

Злючкин протянул к нему руки.

— Хорошо, хорошо, помогу.

— Что же мне делать? что делать? ломая руки, бормотал Яша.

— Теперь тебе остается одно средство.

— Именно?

— Сретроградничай.

— Да как же, как же? научи!

— Вона, этому еще учить. Это либерализму нужно учиться: а ретроградства только, сделай милость, пожелай.

— Желаю.

— Ну вот жди случая, а потом пользуйся им.

Гений скрылся.

Яша начал размышлять как бы ему половчее сретроградничать.

Случай сейчас же представился. Злючкин воспользовался им, но — увы! — вышел мыльный пузырь. Дело, кроме того, повернулось так плохо, что Яша потерял кредит и в противном стане, где он тоже не мало заискивал. (Впрочем, об этом казусе мы поговорим впоследствии. Ему мы намерены даже посвятить особую статейку, тоже в виде романа.)⁶

Последняя неудача окончательно сразила Яшу.

— Этот ли еще путь не был верный? рассуждал он, чуть не со слезами на глазах. — Что же теперь делать остается?

— Купил бы ты деревеньку, — подсказывает брюхо.

— Только этого еще не доставало.

И опять усиленные телодвижения, чтобы заставить врага молчать.

Думал, думал Яша: гений не приходит, подставивши два раза ногу; мозги высохли, брюхо чепуху несет, — вот и надумал он выйти в отставку. «Авось, мол, для того, чтобы не бросал службу, в четвертый пустят». Ничего — выпустили, даже слова не сказали.

— Хорошо же, — злобствует он: — я вам насолю!

Делать нечего, покорился Яша брюху, послушался его глупых советов, последние деньжонки, приобретенные от честной и бескорыстной служебной деятельности, убил на деревню. Занялся хозяйством: тимофей-траву пополам с клевером сеет, американский овес разводит, плуги английские завел, веялку и молотилку купил, — а сам все прислушивается, все прислушивается: не будет ли откуда благоприятных вестей.

Не долго прислушивался мой герой. Дело повернулось как-то так, что Цинцинат наш вдруг очутился в числе людей близких к редакции одного журнала.

— Теперь нужно ковать железо, пока горячо, — рассуждал Яша, и тотчас же взобрался на ходули.

Стоит Злючкин день, стоит другой, месяц стоит, — никто его не замечает.

— Сём-ка я голос возвышу, — рассуждает Яша.

Возвысил.

Опять никто не замечает. Ходят мимо него разные «мальчишки», видят парень ломается, старается обратить на себя их внимание — смеются «мальчишки», скоморохом называют.

— Разве не видите, что я колосс, — кричит им сверху Злючкин.

— Какой ты колосс, ты просто искусно сделанный автомат, — острят «мальчишки».

— Я ведь за вас, господа; я люблю молодежь, — кричит Яша.

«Мальчишки» разразились хохотом, и засвистали, засвистали...⁷

И ругнул же их. за это Злючкин: так ругнул, как только может ругаться бессильная злоба!

Стоит Яша на ходулях, колосса изображая, а сам все назад посматривает, все назад посматривает: не вывернется ли где местечко хорошенькое.

— Хоть бы откупную систему что ли какую придумали, тогда, по крайней мере, денег бы нажил, а то тут чорт знает из-за чего бьешься! со слезами на глазах рассуждает Злючкин, измышляя различные пасквили.

Жалко тебя, бедный Яша! По человечеству жалко, как говаривали старики наши когда-то.

Р. S. Если тебе, читатель, романс мой понравился, то я обещаюсь почаще говорить с тобой в таком роде; если же нет, то что же делать?

«Не прославиться,
Угодить тебе хочу,
Буду рад, коли понравится,
Не понравится — смолчу».

А теперь побеседуем-ка с тобой об чем-нибудь о другом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Неизвестному корреспонденту

¹ Корректурa письма «Неизвестному корреспонденту», с которой письмо печатается, не датирована. Можно только установить, что письмо написано не позже 17 марта 1864 г. (дата цензурного разрешения мартовской книжки «Современника», где напечатана очередная хроника Салтыкова из цикла «Наша общественная жизнь»; в эту хронику вошла часть материала письма, оставшегося ненапечатанным). Об обстоятельствах, при которых письмо написано, см. во вступительной статье.

2. Журнальный ад

¹ «Журнальные семейства». — После смерти М. М. Достоевского (ум. 10 июля 1864 г.) право издания «Эпохи» перешло к его вдове Э. Ф. Достоевской и ее «семейству»: под «семейством» разумеется конечно Ф. М. Достоевский, имя которого как недавнего политического «преступника» не могло быть официально выдвинуто. И. Салтыков — как здесь, так и в дальнейшем (например в статье, так и озаглавленной «Гг. семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха») — под «семейством М. М. Достоевского» иронически разумеет Ф. М. Достоевского, фактического издателя и редактора «Эпохи». Разрешение на издание «Эпохи» Э. Ф. Достоевской под редакцией А. У. Порецкого было дано в конце июля; объявление с упоминанием о новых издателях появилось в июньской книжке «Эпохи», вышедшей в конце августа (ценз. разр. 20 августа, объявление 30 августа). Не считаю обязательным отодвигать на этом основании дату написания «Журнального ада» до начала сентября, 1864 г., так как вопрос решился уже к началу августа, и решение его могло быть известно в литературных кругах; возможно, что Салтыков знал и о выражении «осиротевшее семейство», фигурировавшем в официальной переписке по этому делу (см. публикацию А. С. Долинникова «К цензурной истории первых двух журналов Достоевского» в сб. «Достоевский», т. II, Л., 1925).

² «Человекообразные» — здесь группа «Русского Слова» (см. вступительную статью). Но уже в это время Салтыков применял образ «человекообразных» и к противоположному лагерю. Так в очерке «Она еще едва умеет лепетать» из цикла «Помпадуры и помпадурши» (впервые в «Современнике» 1864 г., № 8) помпадур Митенька Козелков и друг его Петя Боков названы «двумя средних лет чимпандзе»; к этому месту сделана сноска: «Чимпандзе — особый вид из семейства человекообразных обезьян, после гориллы наиболее подходящий своею физическою организацией к человеку». Позже — в «Господах ташкентцах» — Салтыков сравнивает реакционных бюрократов, делающих карьеру на борьбе с нигилизмом, с гориллами и спрашивает: «Чего хотели эти человекообразные? чему они радовались?» («Что такое ташкентцы», — впервые в «Отч. Зап.» 1869, № 11). «Опытный сановник Чимпандзе» упоминается в «Старческом горе», 1879 г.

³ Макар Алексеевич Девушкин — герой «Бедных людей» Ф. М. Достоевского, иронически отождествленный здесь с самим Достоевским. В борьбе с Достоевским Салтыков не раз иронически пользуется общепринятым историко-литературным сопоставлением Достоевского с Гоголем и «Бедных людей» с «Шинелью». Еще в «Тревогах времени», открывших полемику с Достоевским («Современник» 1863, № 3), Салтыков писал: «Все-то в вас чужое: ваши мысли суть обедненные чужие мысли, ваше сентиментальничанье с либерализмом есть тысячекратно повторяемое трясение гоголевской Шинели...» Ту же насмешку продолжает он в сказке «Самонадеянный Федя» («Современник» 1864 г., № 4, «Свисток»:

Федя богу не молился,
«Ладно», мнил, «и так!»
Все ленился и ленился
И попал впросак.
Раз беспечно он «Шинелью»
Гоголя играл

И обычной канителью
Время наполнял...

На эпиграмму Салтыкова Достоевский отозвался через пять лет в «Идиоте», включив ее в перефразированном виде в клеветнический памфлет против князя Мышкина; эпиграмме предшествовал прозрачный намек на Салтыкова: «Говорят, один из известнейших юмористов наших обмолвился при этом восхитительную эпиграммой, достойною занять место не только в губернских, но и в столичных очерках наших нравов:

«Лева Шнейдера шинелью
Пятилетие играл
И обычной канителью
Время наполнял...
Возвратясь в штиблетах узких,
Миллион наследств взяв,
Богу молится по-русски;
А студентов обокрал».

(Соч. Достоевского. ГИЗ, т. VI, стр. 234—235; разрядка здесь и ниже моя.—В. Г.).

⁴ Пародия на общий смысл и стиль характерных реплик героев Достоевского и на отдельные выражения «Бедных людей», с одной стороны, и «Записок из подполья» — с другой. Ср. в «Бедных людях»: «Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смиренный человек, потому что я маленький человек»... (Соч. Достоевского. ГИЗ, т. I, стр. 40); «Маточка моя, я не зол и не жестокосерден; а для того, чтобы растерзать сердечко ваше, голубка моя, нужно быть не более не менее, как кровожадным тигром, ну а у меня сердце овечье, и я, как вам известно, не имею позыва к кровожадности» (там же, стр. 78); в «Записках из подполья»: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек» (там же, т. IV, стр. 109); «Да в том-то и состояла вся шутка, в том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуты самой сильнейшей жолчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю и себя этим тешу» (там же, стр. 110). Выражения «матинька вы моя» у Достоевского нет.

⁵ То же выражение в статье «Гг. семейству М. М. Достоевского» (см. вступительную статью).

⁶ «Картонный ад, картонные турниры» и т. д.—Ср. в «Нашей общественной жизни» 1863 г., «Современник», № 3: «Часто приходит мне на мысль, что все мы, сколько нас ни есть, живем и действуем на каких-то бесконечно-обширных театральных подмостках, которые почему-то называем ареною жизни; что над нами стелется холстинное небо, освещаемое промасленным бумажным кругом, сквозь который тускло светится мерцание стеаринового огарка; что вокруг нас простираются холстинные леса, расстилаются холстинные луга, холдуном ходят холстинные волны; что, хотя на нас падает снег и дождь, но снег этот бумажный, дождь шнурковый, что мы питаемся картонными кушаньями, пьем примерное вино, воюем картонными копьями и произносим картонные речи». В «Нашей общественной жизни» 1863 г., «Современник», № 5: «Подобная работа (речь идет о мнимом «возрождении»).—В. Г.) все равно, что театральная декорация: унесут и нет ее: был лес — на место леса — комната, на место комнаты — ад, все это дело балетмейстерской фантазии». В «Нашей общественной жизни» 1863 г., «Современник», № 12: «Я говорил: если тебе кажется, что небо разваливается, что земля трепещет и стонет, что воды выходят из берегов, то не тужи и не убивайся, ибо небо это картонное, земля картонная и вода картонная».

⁷ «Пять лет перед сим...»—1859 и следующие за ним годы были временем расцвета радикально-демократической публицистики, критики и сатиры (важнейшие статьи Чернышевского, Добролюбова; «Свисток», «Искра»). Возможно, что, указывая на 1859 г., Салтыков имел в виду и недавнее прошлое своих теперешних врагов: Достоевского, который, в 1859 г. только что вернулся из ссылки и возобновлял литературную деятельность, и Писарева, впервые в этом году выступившего в печати.

⁸ «Микроскопические деятели»—мелкие обличители типа Розенгейма, Вл. Елагина, Н. Львова и др.

⁹ «Московские публицисты»—И. С. Аксаков («День») и М. Н. Катков («Московские Ведомости»). «Петербургские газеты»—прежде всего «Сын Отечества» А. В. Старчевского, затем «Голос» А. А. Краевского. «Прислушайтесь к хладно-умеренно-размазистым разглагольствиям петербургских газет»—ср. обязательное выслушивание «противной либерально-размазистой болтовни» («Наша общественная жизнь» 1864 г., «Современник», № 3).

¹⁰ «Все один и тот же выжатый лимон»—идея славянофильского национализма. «Выматывание лент»—ср. «Нашу общественную жизнь» 1864 г., «Современник», № 1—2: «Ими (т. е. теми же «московскими публицистами», о кото-

рых речь идет и здесь.— В. Г.) внезапно овладевает горячечный бред в соединении с свистопляскою; они делаются способными глотать огонь, выматывать из себя сколько угодно аршин лент, чесать у себя ногой за ухом, пожирать свое собственное тело, одним словом, приводить публику в такое состояние, чтобы она могла сказать: «о! да нам с этакими разухабистыми молодцами никаких театров не надо!» Ср. еще в «Похвале легкомыслию»: «явное пристрастие к фокусникам и престижигаторам!» («Искра» 1870 г., № 8).

¹¹ «Дождевики». — Ср. в «Нашей общественной жизни» 1863 г., «Современник», № 9: «уймется дожди... и все эти пузыри лопнут, все эти белые здоровенные дождевики мгновенно позеленеют и обратятся в прах».

¹² «Форрейторы» и т. д.— выражение Ив. Аксакова, полемически направленное против «западников». Россия сравнивалась с тяжелой колымагой, запряженной шестериком «зоровых, крепких, но несколько ленивых коней» и тройкой «выносливых или передовых, на одной из которых усердно беспокоится бойкий форрейтор»... «Беспокойный форрейтор, прудуравив своих лошадей не во-время, так натянул постромки, что они лопнули; колымага с шестериком засела в трясине, на самом взлобе дороги, а форрейтор с своими выносливыми конями «ускакал вперед». Дальше «форрейторам ставилась в упрек погоня за блудящими огоньками («идеями века») и неповиновение «кучеру», под которым могло разумеаться только правительство» («День», № 16 от 27 января 1862 г.). Салтыков вспомнил об этой статье Аксакова в сентябрьской хронике «Нашей общественной жизни» 1863 г.: «У Дня есть еще одна особенно замечательная фигура, называемая фигурю форрейтора», и т. д.; приведено аксаковское сравнение, после чего добавлено: «Положение драматическое, но для обеих сторон равно неполезительное. Замечательнее всего, что Русяндия постоянно обвиняется в том, что без оглядки скачет «вперед»... Каков скакун!» Ср. речь Митеньки Козелкова в очерке «Она еще едва умеет лепетать»: «Но, с другой стороны, ежели я буду желать и стремиться один, если я буду усиливаться, а почтенные представители отечественной гражданственности и общественности не будут оказывать мне содействия... то, спрашиваю я вас, что из этого может произойти? А вот что, друзья мои: я могу уподобиться форрейтору, который, не замечая, что постромки, привязывающие к экипажу выносливых лошадей, оборвались, все мчится вперед и вперед, между тем как экипаж давно остановился и погряз в болоте» (Соч. Салтыкова. ГИЗ, 1926, т. II, стр. 105).

¹³ «Роззвания к невежеству, ненависти, злобе, мести» — имеются в виду вероятно антисемитские статьи «Дня»; см. например «День» от 8 августа 1864 г. Автор статьи предвидел неизбежные обвинения в разжигании национальной вражды: «Найдутся, пожалуй, такие господа, которые обвинят нас в желании разжечь взаимную ненависть христиан и евреев». Если отодвинуть дату «Журнального ада» на начало сентября — в этом месте можно видеть намек и на статью Каткова в «Московских Ведомостях» от 5 и 6 сентября 1864 г. по поводу книги Шедо-Ферротти; статья была направлена против российских «поклонников Герцена», на которых возлагалась вина за «мятеж, кровопролитие, тайные политические убийства, казни, бесславление и позор».

¹⁴ «Тропы и фигуры». Это выражение Салтыков и раньше употреблял в полемике с «Днем». Ср. в уже цитированной сентябрьской хронике: «...фигуры и тропы, которым нас обучали в детстве, заключаются в нас самих... В каких-нибудь немногих номерах газеты совместить столько риторической сущности — как хотите, а это труд громадный». Смысл этого сравнения: разоблачение абстрактности и бессодержательности публицистической патетики славянофильского органа.

¹⁵ Ближайшим образом имеется в виду вероятно статья в «Сыне Отечества» от 14 августа 1864 г., № 194: «Об издании «Сына Отечества» в 1865 году». Статья эта имела характер редакционной программы; программа же заключалась в желании служить «правде и истине», а не «известному взгляду, известному направлению, известным идеям». Автор статьи недоумевал: «что люди могут называть консерватизмом и либерализмом», и утверждал, что «правда и истина... всегда либеральны». Выдвигая девиз «все хорошо в свое время», оппортунистический орган доказывал, что обличительная литература «сделала свое дело, и довольно», что если «было время, когда резкое слово и всякая задевающая статья были в большом ходу» — теперь они могут быть вредны». Афишируя таким образом перед правительственными сферами свою благонадежность, «Сын Отечества» тем самым подкапывался под левую прессу, в частности под «Современник»: нет сомнения, что выражения «резкое слово» и «задевающая статья» метили и непосредственно в Щедрина. Словами «о чем-то поминает» и т. п. Салтыков намекает вероятно на то место статьи, где автор доказывал, что газета, распространенная «во всех классах общества» и преимущественно «между средним классом», «...должна быть очень осторожна в своих выражениях и кроме того должна и говорить особым языком и в особых формах излагать мысль и иначе раскрывать ее; а о некоторых предметах говорить настолько, насколько это необходимо, нужно и возможно». К «хладно-умеренно-размазистым» петербургским

газетам Салтыков относил вероятно и «Голос» Краевского, который и раньше высмеивал под псевдонимом «Куриное Эхо».

¹⁶ Объединяя прозвищем «стрижи» всю группу сотрудников «Эпохи», Салтыков ближайшим образом разумеет здесь Ф. М. Достоевского. «Сплетни, сплетни без конца» — намек на «роман о Щедродарове, который так же оценен и в отрывке «Но если уж пошла речь об стихах» и в статье «Г. семейство М. М. Достоевского». Выражение «хныканье» тоже имеет соответствие в одном одновременном отзыве: в рецензии на роман Конст. Леонтьева «В своем краю» упоминается о «хныкательной эссенции, изготовляемой г. Достоевским» в числе «ядов», из которых составлен роман Леонтьева.

¹⁷ Этой фразой Салтыков воспользовался впоследствии в рецензии на «Суету сует» Н. Соловьева (см. вступительную статью).

¹⁸ «Почва». — Слово «почва» действительно было девизом «Времени» и «Эпохи»; отсюда позднейшие термины «почвенники», «почвенничество». Идея возвращения к «народной почве» усиленно пропагандировалась Достоевским, Ап. Григорьевым, Страховым. См. например в объявлении об издании «Времени» в 1862 г., написанном вероятно при ближайшем участии Достоевского: «Но, отказавшись от того, что было бесплодно и губительно в явлениях нашей прежней жизни, мы унеслись на воздух и отказались чуть ли не от самой почвы. Без почвы ничего не вырастет и никакого плода не будет. А для всякого плода нужна своя почва, свой климат, свое воспитание. Без крепкой почвы под ногами и движение вперед невозможно: еще пожалуй поедешь назад или свалишься с облаков». Идеология «почвенничества» — объективно-реакционная — вызывала отпор и насмешки со стороны демократического просветительства, стремившегося ликвидировать остатки феодализма и европеизировать Россию до конца. Характерна например «фантастическая сцена» в «Искре» 1863 г. от 22 февраля: «Ванна из «почвы» или галлюцинации М. М. Достоевского».

¹⁹ «Без подлежащего, сказуемого и связи» — один из «щедринизмов», выдающих авторство Салтыкова. В очерке «Она еще едва умеет лепетать» (напечатанном в «Современнике» 1864 г., № 8) после изложения речи Митеньки следует: «Правитель канцелярии сейчас же определил ее достоинство, сказав, что это речь без подлежащего, без сказуемого и без связи, но «преданные» поняли. С своей стороны, хотя я и согласен с мнением правителя канцелярии, но нахожу, что такого рода красноречие составляет истинное благополучие и положительный ресурс при нашей бедности. С помощью его можно администрировать, можно издавать журналы, можно даже написать целый ученый трактат. И будет хорошо». Интересно, что в рукописи, после слов «можно издавать журналы» первоначально было: «Пример: стриж, которые в течение трех лет издавали журнал, не произнес ни одного подлежащего, ни одного сказуемого и ни одной связи» (Собр. соч. ГИЗ, т. II, стр. 98; за указание варианта благодарю К. Н. Григорьяна.—В. Г.). Ср. в «Дневнике провинциала в Петербурге», гл. II (впервые в «Отеч. Зап.» 1872 г., № 2): «я безразличным образом сотрясал воздух, я внимал речам без подлежащего, без сказуемого, без связи и сам произносил речи без подлежащего, без сказуемого, без связи» (Собр. соч. ГИЗ, т. III, стр. 19).

²⁰ «Множество вопросов». — Статья Н. Б. «Текущая беллетристика» («День» от 1 августа 1864 г.), посвященная разбору «Марева» Ключникова и «Взбаламученного моря» Писемского, начинается фразой: «В настоящую минуту, когда весь строй нашей общественной жизни испытывает переходный кризис и отовсюду возникает множество экономических вопросов — и литература у нас также сошла вся на публицистику».

²¹ «Яды». — Ср. в «Нашей общественной жизни» 1863 г., № 3. «Что благородство чувств есть один из самых сильно действующих ядов нашей литературы — это я совсем не шутя говорю. Дело в том, что благородные чувства и хорошие мысли грозят затопить русскую литературу...» Курсив слова «ядов» — в самом тексте. Здесь приведен пример почти того же «яда», что и в «Журнальном аде»: мнимое «благородство чувств», за которым скрыта пустота. Выражением «яды» в подобном же смысле Салтыков пользовался не раз. Ср. «Сенечин яд», первоначально входивший в цикл «Наша общественная жизнь» («Современник» 1863 г., № 1—2) ср. также перечисление различных ядов литературы в рецензии на роман К. Леонтьева («Современник» 1864 г., № 10).

²² Под «журналами, в которых когда-то нечто было говорено и именами, которые когда-то, что-то обещали» имеются в виду прежде всего «Русский Вестник» Каткова, затем «Эпоха» Достоевского (сменившая его же «Время»).

3. [Отрывок из полемической статьи]

¹ До этого «речь шла» вероятно о стихах Фета, на которые ссылался Достоевский в статье «Чтобы кончить»:

Жди ясного на завтра дня:
Стрижи мелькают и звенят.

Приведенный затем отрывок Пушкина мог быть известен Салтыкову из «Материалов для биографии А. С. Пушкина» Анненкова, где он впервые был опубликован («Сочинения Пушкина», П., 1855, т. I, стр. 334). Анненков произвольно отнес этот отрывок к «альбому Онегина»; за ним следовали и позднейшие редакторы вплоть до И. А. Шляпкина, опубликовавшего отрывок в книге «Из незаданных бумаг Пушкина» (П., 1903) с добавлениями, исправлениями и вариантами (впрочем произвольно скомпонованными и не всегда верно прочитанными). Наиболее исправно воспроизведен отрывок в новейших изданиях Пушкина (Приложение к журн. «Красн. нива» на 1930 г., кн. 4, стр. 212 и в изд. ГИХЛ, т. II, стр. 275). Салтыков воспроизводит отрывок в той закругленной форме, какую придал ему Анненков; на самом деле отрывок неокончен и неотделан. Так например, последние две строки (на которых основана мысль Салтыкова) в пушкинском черновике читаются так: «Но что (середина строки не заполнена) чудно». «Всех вместе презирать и трудно». — На этом отрывок обрывается; фраза видимо незакончена.

² После этой цитаты в рукописи зачеркнуто несколько строк, варьирующих мысли двух следующих абзацов окончательного текста. Невосстановленным оказалось любопытное примечание в скобках к словам «Пушкин, написавший эти стихи»: «сим свидетельству, что талант великого русского поэта имеет во мне одного из ревностнейших почитателей».

³ Объяснение всех этих «зоологических» псевдонимов см. во вступительной статье.

⁴ Ср. во вступительной статье цитату из «Литературных мелочей» о «псевдо-Зайцеве», сотруднике Кузьмы Пруткова. Упоминания о Кузьме Пруткове, если искать здесь псевдонима определенного лица, не вполне ясны; возможные предположения нуждаются в проверке. Во всяком случае эти упоминания не имеют ничего общего с позднейшими упоминаниями в «Дневнике провинциала» 1872 г. и «Помпадуре борьбы» 1873 г., где под Кузьмой Прутковым разумеется М. Н. Лонгинов.

⁵ Говоря: «Современник вас обманул, стрижи!» Салтыков имеет в виду полемическую статью Антоновича «Стрижам (послание обер-стрижу, господину Достоевскому)», помещенную в «Современнике» 1864 г., № 7 за подписью «Посторонний сатирик, автор «Стрижей». Антонович писал (отвечая на «Щедродарова»): «Бедные стрижи! вы сделали жертвою самой смешной мистификации; вас надули, автор «стрижей» вовсе не г. Щедрин, а я, ваша месье попала не туда, обрушилась на неповинную голову. Итак, оставьте в покое г. Щедрина по делам об изобретении стрижей и обращайтесь единственно и исключительно ко мне, к настоящему автору и изобретателю «стрижей»; я дорожу своим изобретением и не потерплю, чтобы честь его приписывали другому». Дальше Антонович рассказывает историю, скорее всего вымышленную, о встрече с каким-то «господином, который везде толкается»; выпытав у Антоновича, что автор «Стрижей» Щедрин, господин этот сообщил ему нужные сведения об «Эпохе»; между прочим и то, что сатиру на Щедрина «нацарапал сам обер-стриж, господин Достоевский». Вся эта мистификация, предпринятая, надо полагать, с ведома Салтыкова, имела вероятно целью ввести в заблуждение читателей «Современника» и представить Достоевского в особенно смешном виде. Серьезного намерения мистифицировать «Эпоху» предположить никак нельзя; «Эпоха» и не была введена в заблуждение: это доказывается статьями и Достоевского, и Страхова. Так в октябрьской книжке «Эпохи» Страхов говорит об авторстве Щедрина с полной определенностью: «После своего промаха (т. е. после насмешек над «Что делать?» — В. Г.) Щедрин сделал еще в «Современнике» два подвига, бывшие так сказать его лебединой песней в этом журнале. Именно — обругал деятелей «Русского Слова» в слух и им и юродствующими и написал «Стрижей». Обращаю внимание на слова Страхова о «лебединой песне»; как из этих слов, так и из всего дальнейшего такта страховской статьи никак нельзя сделать того заключения, какое сделано в главе XI монографии Иванова-Разумника: будто статья Страхова «приписывала ему, Салтыкову, все статьи «Постороннего сатирика», написанные Антоновичем во второй половине 1864 года». Согласно изложению Иванова-Разумника, «статью свою Страхов заканчивает рассказом про эпизод со «Стрижками»; указывая, что эту «драматическую быль» написал несомненно Салтыков, Страхов прибавляет: «он написал еще пять статей против «Эпохи» (две в июле и по одной в августе, сентябре и октябре)». Но приведенную здесь фразу Страхов не прибавляет к рассказу о «Стрижках», а отделяет от него целой страницей, на которой излагается дальнейшая полемика между «Эпохой» и «Современником»; имя Щедрина в этом изложении вовсе не упоминается; речь идет о статьях «Современника», а не Щедрина; слова «еще» у Страхова также нет.

⁶ «Современник» 1864 г., № 7, стр. 155.

⁷ Имеется в виду то место из статьи «Чтобы кончить» («Эпоха» 1864 г., сентябрь), где Достоевский, демонстративно цитируя стихи Фета о стрижах (см. прим. 1-е), находил сравнение со стрижами несколько не обидным: «Итак знайте, что

стрижи, по нашему мнению — очень хорошенские птички: во-первых, они красивые, а во-вторых — предвещают ясную погоду». Это обращение Достоевского к «Современнику» было тотчас же высмеяно в стихотворениях В. С. Курочкина «Предвещание на новый год» («Искра» 1864 г., № 50 от 30 декабря). Несомненно демонстративный характер имел и придуманный Достоевским псевдоним «Семен Стойжов», который фигурирует в журнальном тексте повести «Крокодил» («Эпоха» 1865 г., № 2). Объяснение было дано в «Предисловии редакции» (впоследствии отброшенном), где рассказывалось, что рукопись «Крокодила» доставлена неизвестным лицом при неподписанном письме. «Так как рассказ тоже никем не подписан, то редакция и уполномочила Федора Достоевского, для виду, подписать под ним свое имя и в то же время, в видах справедливости, изобрести приличный псевдоним и неизвестному автору. Таким образом неизвестный автор и назван был Семеном Стрижовым — неизвестно почему» (Соч. Достоевского. ГИЗ, т. IV, стр. 476).

⁸ Ср. в «Стрижах» Салтыкова: «театр представляет заустелый, сырой погреб, на дверях которого красуется вывеска: «Главная редакция журнала «Возобновленный Сатурн»».

⁹ К. Петерсон — автор заметки в «Московских Ведомостях» 1863 г., № 109 от 22 мая «По поводу статьи «Роковой вопрос» в журнале «Время». Петерсон требовал раскрытия псевдонима (статья Страхова была подписана псевдонимом «Русский»), считая, что имя автора, «если бы оно было известно, произносило с презрением каждым истинно русским» (основная мысль Страхова заключалась в том, что русско-польские отношения осложняются преимуществами польской цивилизации над русской). Заметка Петерсона имела характер доноса и действительно вызвала закрытие «Времени». О Петерсоне упоминается несколько раз в «Стрижах».

4. Фельетон [В. Зайцева о Щедрина]

¹ Гнейст (1816—1895) — профессор Берлинского университета. Его книги по английскому государственному праву пропагандировались «Русским Вестником» Каткова в 50-х годах. Над англофильством Каткова смеялся и Салтыков (см. «Характеры» в «Искре» 1860 г., № 25 и 28).

² В словах «чиновники, оставленные за штатом» — можно видеть намек на Салтыкова.

³ Цитата из «Нашей общественной жизни» Салтыкова («Современник» 1864 г., № 3). Салтыков утверждал, что и в прошлом (т. е. 1863-м) году он «не прельщался» теми, кого теперь называли «вислоухими»: «И если я выражал свою мысль не всегда одинаково рельефно, то это происходило, во-первых, от того, что сюжет сам по себе еще слишком деликатен, а во-вторых, от того, что при срочной журнальной работе трудно и требовать, чтобы писатель был всегда одинаково ясен и изобретателен». Смысл этой фразы очевиден: Салтыков отвечает на вопрос, почему он в этом году иначе относится к группе «Русского Слова», чем в прошлом, и объясняет это обилием «срочной журнальной работы» в истекшем 1863 г. Но «Русское Слово» поняло это объяснение как самооправдание Салтыкова. Такой смысл придавал этой фразе и Благоветлов в статье «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист «Современника»: «Потом, уж если очень заврался, то можно прикинуться благородно негодующим и сказать: «Ну, разумеется, не поняли меня; ведь это предмет еще слишком деликатный, и говорить о нем ясно не всегда удобно». Наконец, можно сослаться и на срочную журнальную работу, от которой трудно и требовать, чтобы писатель был всегда ясен и изобразителен (курсив в «Русском Слове». — В. Г.); и так как подобные увертки иногда принимаются в уважение от детей десятилетнего возраста, то отчего же не попопробовать вывернуться и мну, если уж приходится очень круто. Таким образом, устраивая себе лазейку, можно всегда с некоторым удобством отступить» («Русское Слово» 1864, № 4, стр. 70—71).

⁴ Объяснение дальнейших намеков, непосредственно относящихся к Салтыкову и его произведениям, см. во вступительной статье.

⁵ Неточная цитата из Мея (цикл «Еврейские песни»). У Мея:

И слылась я с речью нежною
Всей душой моей мятежною.

⁶ Обещание «посвятить особую статейку» эпизоду с прокламациями «Великорусс» не было исполнено.

⁷ «Мальчишки» — поенебрежительная кличка, под которой реакционная журналистика и прежде всего «Русский Вестник» Каткова высмеивали радикальные и революционные литературно-общественные группы. Анализ понятия «нигилизма» и «мальчишества» был содержанием первой хроники из цикла «Наша общественная жизнь» за 1863 г. Полемизируя с Катковым, Салтыков между прочим писал: «Нет, я не прошу для мальчишек ни сожаления, ни даже снисхождения. Я нахожу, что мальчишество — сила, а сословие мальчишек — очень почтенное сословие».